

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН



ОБ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ



Блаженный Августин
Блаженный Августин
Об истинной религии

«Алетейя»

УДК 27-29
ББК 86.37

Блаженный Августин Б.

Об истинной религии / Б. Блаженный Августин — «Алетейя»,
398

ISBN 978-5-89329-212-1

Блаженный Августин (Sanctus Aurelius Augustinus) (354-430) — величайший из отцов древней Церкви (doctores ecclesiae) христианского Запада, оказавший огромное влияние на все дальнейшее развитие христианской мысли, этических взглядов и церковного устройства. Многогранности дарований и масштабу личности Блаженного Августина вполне соответствует общее количество написанных им сочинений - 93 в 232 книгах. В данном томе представлены ранние и по преимуществу философские работы святого отца. Приведены также обширный философско-догматический трактат «Об истинной религии (против манихеев)» и знаменитая, ошеломляющая «Исповедь». В книге использованы переводы Киевской Духовной Академии, выполненные профессорами Академии с большой текстологической тщательностью и с превосходным знанием церковно-богословских реалий раннего христианства. Тексты печатаются в современной редакции. Для самого широкого круга читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 27-29
ББК 86.37

ISBN 978-5-89329-212-1

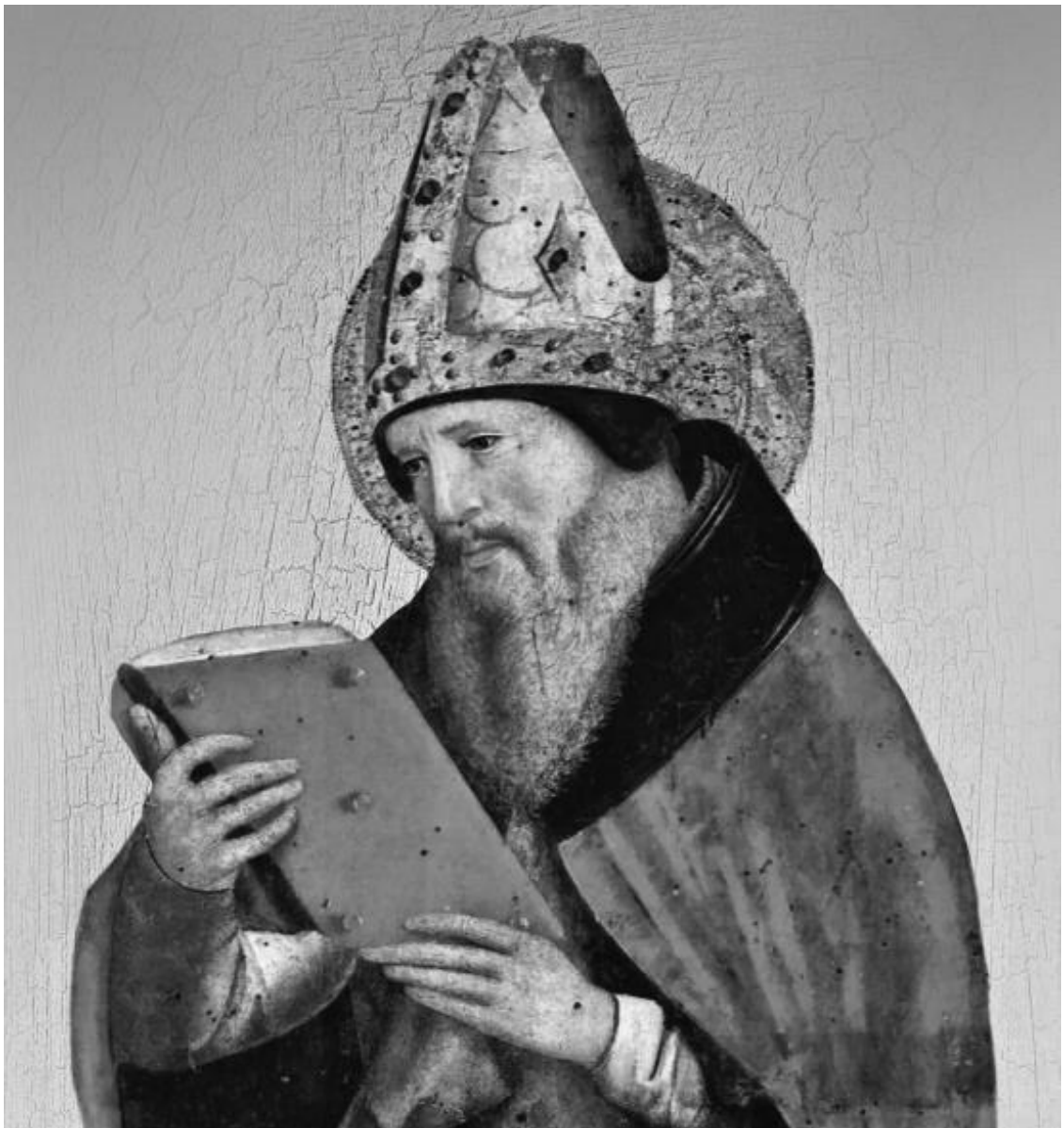
© Блаженный Августин Б., 398

© Алетейя, 398

Содержание

Блаженный Августин	8
Против академиков	10
Предисловие	10
Книга первая	12
Состязание первое	12
Состязание второе	15
Состязание третье	17
Заключение	19
Книга вторая	21
Состязание первое	24
Состязание второе	25
Состязание третье	30
Книга третья	33
Состязание первое	33
Состязание второе	36
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Блаженный Августин Об истинной религии



Sanctus Aurelius Augustinus (354–430)



@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ



© С. И. Еремеев, составление, подготовка к печати, 2000
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

Блаженный Августин

А. К. Дживелегов

Блаж. Августин Аврелий, великий мыслитель, отец латинского христианства. Родился в 353 г. в нумидийском городе Тагасте, получил юридическое образование в африканских школах, но его пытливый ум не мог успокоиться на полученных там знаниях. Вся жизнь Августина до принятия христианства была сплошным исканием истины. Он лихорадочно бросался от манихейства, в котором думал успокоить свои сомнения, в академический скептицизм, от скептицизма – в неоплатонический идеализм – ничто в полной мере не удовлетворяло его.

В 383 г. он отправился в Италию. В Милане, благодаря знаменитому Амвросию, он ближе познакомился с христианством, изучение посланий апостола Павла довершило его обращение, и в 387 г. Августин крестился. Вернувшись в Африку и раздав свое имущество, он вступил в 391 г. в духовное звание, сделался священником (395 г.), затем епископом в Гиппоне, и стал проповедовать христианство. Его догматика установилась во время его полемики с донатистами и пелагианцами. Умер блаж. Августин в 430 г.

Система мирозерцания Августина построена на двух основах: на идее самодостоверности сознания, с одной стороны, и на представлении о роли и значении церкви – с другой. Исходным гносеологическим пунктом является для него идея реальности сознательности существа; как впоследствии Декарт, Августин, опираясь на этот факт, логически выводит из него все остальные, включая сюда и идею Божества. Однако, эта последняя идея является для него не голым метафизическим представлением о совокупности всех истин: Бог для Августина в то же время живое религиозное представление, хотя и созданное опять-таки по аналогии с человеческим самопознанием. Из того же антропологического обоснования философии вытекает для Августина психологическое значение воли. Меньшее значение придается разуму, потому что познание умопостигаемого мира происходит главным образом путем откровения; притом оно осложняется еще одним моментом – идеей божественной благодати; познание истины есть момент блаженства, истекающего от Бога. Отсюда логический вывод к представлению о вере. Последовательно проведенная идея свободы воли завершает метафизическую часть учения Августина. В ней он находился под сильным влиянием древней философии, особенно неоплатонизма.

Другая сторона системы Августина коренится в понятии церкви и сильно противоречит метафизической. Там мы имеем свободу воли, здесь – учение о предопределении, там – индивидуализм, тут – универсализм. Под влиянием учения о предопределении набросана знаменитая картина развития древнего мира, в которой Августин дал исчерпывающую схему средневекового мирозерцания. Она составляет содержание знаменитого “*Civitas Dei*”. Книга эта возникла на почве сильной реакции против социального и политического строя Римской империи. Варвары сокрушили материальную сторону идеи Римской империи с ее политическими и социальными отношениями. Надо было спасти культуру и для спасения ее искать наиболее сильное выражение духовного начала. Этот конфликт между духовным и материальным, объясняющийся чисто исторически, и был источником политики Августина. Вывод напрашивался прямой: раз материальное несостоятельно, его надо подчинить духовному, как в индивидууме, так и в общественной организации. Последнее нашло свое выражение в антитезе церкви и государства, царства Божия и царства дьявола.

Политические идеи Августина легли в основу всего средневекового развития и породили принцип теократии, которому со времени Григория VII суждено было играть такую исключительно крупную роль. Средневековая философия, как в схоластической, так и в мистической части, также идет от Августина. Индивидуализм Августина оказал сильное влияние на

мыслителей Возрождения. Метафизика внутреннего опыта сделалась исходным пунктом новой философии. Учение о предопределении дало направление некоторым сторонам учения реформаторов, начиная с Виклифа и кончая Кальвином. Словом, мощный ум гениального варвара проложил пути в самых главных и самых важных направлениях, по которым впоследствии пошло развитие человеческой мысли.

Против академиков

Предисловие

1. О если бы, Романиан, добродетель могла потребовать у противодействующей ей фортуны достойного человека, да еще и так, чтобы последняя вновь не отобрала его у нее! Тогда, несомненно, добродетель давно уже наложила бы на тебя руку, провозгласила бы тебя человеком вольным и ввела бы во владение имуществом самым благонадежным, дабы не допустить тебя раболепствовать даже перед счастливой случайностью. Но по грехам ли нашим, или же по естественной необходимости так устроено, что божественный дух, присущий смертным, никоим образом не входит в гавань мудрости, где не тревожило бы его никакое дуновение фортуны – ни противное, ни благоприятное, если, конечно, не введет его в эту гавань сама же фортуна, безусловно счастливая, хотя порой и кажущаяся несчастной. Поэтому нам не остается ничего другого, кроме молитв за тебя, которыми мы испросили бы, если сможем, у пекущегося о том Бога, чтобы он возвратил тебя самому себе; ибо тем самым Он легко возвратит тебя и нам и позволит твоему уму, который уже давно едва имеет чем дышать, выбраться, наконец, на воздух истинной свободы.

Ведь, возможно, то, что мы обыкновенно называем фортуной, управляется некоторым сокровенным повелением, и случаем в событиях считается не что иное, как то, основание и причина чего нам попросту неизвестны, и ничего не случается выгодного или невыгодного в частности, что не было бы согласовано и соотнесено с общим. Эту мысль, высказанную в основных положениях самых плодотворных учений и столь трудно постигаемую людьми непосвященными, и обещает доказать своим истинным любителям философия, к занятиям которой я тебя и приглашаю. Поэтому, если и случается с тобой многое, недостойное твоего духа, не спеши презирать самого себя. Коль скоро божественное провидение простирается и на нас, – в чем сомневаться не следует, – то, поверь мне, если с тобой что-нибудь происходит, то так оно и должно происходить. Так, когда ты, с такими своими природными свойствами, которым я всегда удивлялся, с первых дней юности, не поддержанной, увы, разумом, скользкой стезей вступил в человеческую жизнь, переполненную всякими заблуждениями, – водоворот богатств охватил тебя и стал поглощать в обольстительных омутах тот возраст и дух, который с радостью следовал всему, что казалось прекрасным и честным; и только те дуновения фортуны, которые считаются несчастьями, извлекли тебя, почти утонувшего, оттуда.

Ведь если бы тебя, когда ты затевал медвежьи бои и прочие никогда не виданные нашими гражданами зрелища, всегда встречало оглушительное рукоплескание театра; если бы дружные и единомышленные голоса глупцов, число коих безмерно, превозносили тебя до небес; если бы никто не осмелился быть тебе врагом; если бы муниципальные таблицы объявляли тебя своими медными письменами патроном не только своих граждан, но и жителей соседних округов, воздвигались бы тебе статуи, текли почести, придавались степени власти, превышающие объем власти муниципальной, накрывались тучные столы для ежедневных пиршеств; если бы каждый, кому что необходимо, и даже просто желательно для наслаждения, без отказа бы просил и без отказа получал, а многое раздавалось бы и непросящим; если бы и хозяйство, тщательно и добросовестно ведущееся твоими управляющими, оказывалось бы достаточным и готовым к удовлетворению твоих издержек, а сам ты, тем временем, проводил бы жизнь в изящнейших громадах зданий, в роскоши бань, в играх, не пятнающих чести, на охотах, на пирах, слыл бы на устах клиентов, на устах граждан, на устах, наконец, целых народов человеколюбивейшим, щедрейшим, красивейшим и счастливейшим, каковым бы и был, – кто тогда осмелился бы напомнить тебе, Романиан, о другой блаженной жизни, которая, собственно, одна и блаженна?

Кто, спрашиваю? Кто мог бы убедить тебя, что ты не только не был счастлив, но, напротив, был тем более жалок, чем менее таковым казался сам себе? Теперь же, благодаря таким и стольким перенесенным тобою несчастьям, как просто стало тебя увещать! Нужно ли ныне далеко ходить за примерами того, как непостоянно, непрочно и чревато всевозможными бедствиями все то, что смертные считают благами? – ведь, в известной степени, ты так хорошо испытал это сам, что твоим примером мы можем убеждать других!

Итак, те твои достоинства, в силу которых ты всегда стремился к прекрасному и честному, хотел скорее быть щедрым и справедливым, нежели богатым и могущественным, никогда не поддавался бедствиям и мерзостям, – то самое, говорю, божественное, что было усыплено в тебе, уж и не знаю, каким сном этой жизни, какой летаргией, – таинственное провидение вновь пробудило разнообразными и суровыми потрясениями. Пробудись же, пробудись, прошу тебя! Поверь мне, ты еще будешь благодарен судьбе за то, что она не забросала тебя дарами благополучия, на которые так падки многие простаки, дарами, которыми чуть было не прельстился и я сам, и лишь душевная боль смогла принудить меня бежать от открытого всем ветрам образа жизни и искать прибежища в недрах философии. Это она теперь питает и согревает меня в том самом покое, которого мы так сильно желали. Это она освободила меня от того суеверия, в которое я так опрометчиво увлекался вслед за собой и тебя, мой Романиан. Ибо это она учит, и учит справедливо, не почитать решительно ничего из того, что зрится очами смертных. Это она обещает показать со всей ясностью Бога истиннейшего и таинственнейшего, и вот, – вот уже как бы прорисовывает Его образ в светлом тумане.

В усердных занятиях философией проводил со мной время и наш Лиценций. От юношеских обольщений и наслаждений он всецело обратился к ней, так что я не без основания решаюсь предложить его для подражания его отцу. Ибо если на кого, то уж никак не на философию станет жаловаться какой бы то ни было возраст за устранение от ее сосцов. А я, чтобы побудить тебя охотнее за нее взяться (хотя и хорошо знаю твою жажду), решил, однако, послать тебе вначале лишь маленький кусочек на пробу в надежде, что этот кусочек будет тебе весьма приятен и, так сказать, возбудит аппетит. Посылаю тебе запись состязаний, которые вели между собой Тригений и Лиценций. Ибо и первого юношу, насколько привлекла было к себе служба, суля ему якобы освобождение от скуки учения, настолько же возвратила нам пламенным и неустанным ревнителем великих и почтенных знаний.

Итак, спустя несколько дней после того, как мы стали жить в деревне, когда, располагая и воодушевляя их к занятиям, я увидел их даже более, чем надеялся, готовыми к этим занятиям и страстно к ним стремящимися, то и захотелось мне испытать, что они могут в своем возрасте, тем более, что “Гортензий” Цицерона, казалось, уже в значительной мере ознакомил их с философией. Наняв писаря, дабы труд наш не был развеян по ветру, я не позволил ничему погибнуть. В этой книге ты прочтешь о том, насколько спорилось наше дело и каковы их суждения, равно и каковы мнения мои и Алипия.

Книга первая

Состязание первое

2. Итак, когда по моему приглашению мы, как только представился удобный случай, сошлись все вместе, я сказал:

– Сомневаетесь ли вы в том, что нам должно знать истину?

– Нисколько, – отвечал Тригений, а остальные знаками выразили ему свое одобрение.

– А если, – говорю, – мы можем быть блаженными и не познав истины: считаете ли вы познание истины необходимым?

На это Алипий сказал:

– Я полагаю, что мне удобней быть судьей в этом вопросе. Мне предстоит еще долгий путь в город, а потому меня следует освободить от обязанности принять ту или другую сторону, поскольку функцию судьи я могу передать кому бы то ни было легче, чем обязанность защитника той или иной стороны. Поэтому ни для какой из двух сторон ничего от меня не ждите.

Когда все согласились, я повторил свой вопрос.

– Быть блаженными, – ответил Тригений, – мы действительно желаем; и если можем достигнуть этого без истины, то искать ее нет никакой нужды.

– Как это так, – говорю я, – уж не думаете ли вы, что мы действительно можем быть блаженными вдали от истины?

Тогда Лиценций:

– Можем, если истину будем искать.

Когда же я стал настойчиво требовать мнения остальных, Навигий ответил:

– Я, пожалуй, склоняюсь на сторону Лиценция. Возможно, в самом деле, блаженство жизни в том и состоит, чтобы неустанно исследовать истину.

Тригений же сказал:

– Определи, в чем, по-твоему, состоит блаженная жизнь, чтобы мне, на основании этого, сообразить, что следует отвечать.

– Неужели ты думаешь, – говорю я, – что жить блаженно означает что другое, как не жить согласно наилучшему, что есть в человеке?

– Я не буду, – ответил он, – напрасно тратить слов: полагаю, что ты же и должен определить мне, что это – самое наилучшее.

– Кто, – говорю, – усомнится, что наилучшее в человеке – это та часть его души, которая в нем господствует и которой все остальное в человеке должно повиноваться? А, чтобы ты не потребовал еще одного определения, сразу поясню: такой частью может назваться ум или рассудок. Если же ты не согласен с этим, попытайся сам сформулировать, что есть блаженная жизнь или наилучшее в человеке.

Тригений спорить не стал.

– В таком случае, – продолжил я, – возвратимся к нашему предмету. Представляешь ли ты себе, что можно жить блаженно и не найдя истины, лишь бы только ее искать?

– Я отнюдь не представляю этого, – отвечает Тригений, – но ведь я на этом и настаивал.

– А вы, – спрашиваю я у других, – как думаете?

Тогда Лиценций сказал:

– Мне кажется, что можно, потому что те наши предки, которых мы знаем, как людей мудрых и блаженных, жили достойно и блаженно только лишь потому, что искали истину.

– Благодарю, что выбрали меня судьей вместе с Алипием, которому, признаюсь, я стал было завидовать. Итак, поелику одному из вас кажется, что блаженная жизнь может быть

достигнута одним только исследованием истины, а другому – не иначе, как ее обретением, Навигий же незадолго до этого заявил, что хочет перейти на твою, Лиценций, сторону, то я с нетерпением ожидаю услышать, как вы будете защищать свои мнения! Ибо предмет этот – огромной важности и заслуживает самого тщательного рассмотрения.

– Если это столь серьезный предмет, – заметил Лиценций, – то для его исследования требуются весьма мудрые мужи.

– Не ищи, – говорю, – и особенно в этом городе, того, что и вообще нынче трудно сыскать. Лучше поясни смысл сказанного тобой, сказанного, полагаю, не наобум, и ответь, на каком основании ты таким образом мыслишь. Что же до твоего замечания, то, думаю, и малые люди могут возрасти, когда исследуют великие предметы.

3. Лиценций сказал:

– Так как ты, я вижу, настойчиво побуждаешь нас вступить в состязание, то позволь спросить, почему бы не мог быть блаженным тот, кто ищет истину, хотя бы ее и не нашел?

– А потому, – отвечал за меня Тригений, – что от блаженного мы ждем совершенства и мудрости во всем. Тот же, кто еще только ищет, несовершенен. Поэтому я решительно отказываюсь понимать, почему ты выставляешь такого блаженным.

Тут Лиценций решил сослаться на авторитет предков, на что Тригений благоразумно возразил, дескать, предки предкам рознь. Тогда первый и говорит:

– Считаешь ли ты мудрым Карнеада?

– Я не грек, – отвечает Тригений, – и знать не знаю, каков был твой Карнеад.

Лиценций:

– Ладно, в таком случае, что ты думаешь о нашем знаменитом Цицероне?

После долгого молчания Тригений согласился, что Цицерон был мудр. Обрадовался Лиценций:

– Итак, – говорит, – его мнение по данному предмету имеет для тебя хоть какой-нибудь вес?

– Имеет.

– Так выслушай, если подзабыл, что он говорил. Наш Цицерон полагал, что блажен тот, кто исследует истину, хотя бы и не был в силах ее открыть.

– Где же, позволь, ты это вычитал?

На что Лиценций:

– Разве тебе не известно, что Цицерон особенно настаивал на том, что не существует достоверного чувственного восприятия, а коли так, то мудрому ничего не остается, кроме тщательнейшего изыскания истины, так как, если бы он принял на веру то, что неизвестно, то никогда не смог бы избавиться от заблуждений, а это со стороны мудрого – величайшая ошибка! Поэтому: если мудрого следует считать блаженным, а настоящий удел мудрости – исследование истины, то, значит, одно только это изыскание уже может сделать жизнь блаженной.

Тогда Тригений:

– А можно ли забрать назад необдуманно сделанную уступку?

Тут уже я заметил, что подобное не допускается только в тех случаях, когда затевают споры не из желания найти истину, а из ребяческого легкомыслия. Учítывая же характер спора, а равно и то, что спорщики находятся на стадии воспитания и обучения, я это не только позволяю, но и настаиваю, чтобы взято было за правило возвращаться к обсуждению и пересмотру того, в чем были сделаны не вполне обдуманные уступки. Лиценций согласился, что настоящей победой в философии будет не победа в споре, а отыскание правды и истины. Аппий же сказал:

– Согласитесь, что до выполнения мною взятых на себя обязанностей очередь еще не дошла. А, между тем, еще прежде задуманная поездка вынуждает меня прервать их отправление. Поэтому пусть тот, кто вместе со мной принял на себя обязанности судьи, до моего воз-

вращения выполняет эти обязанности и за меня, располагая как бы удвоенной властью, ибо, как я вижу, спор затянется надолго.

Когда Алипий ушел, Лиценций обратился к Тригению:

– Говори, в чем ты сделал необдуманную уступку?

Тот отвечал:

– Поспешил согласиться, что Цицерон был мудр.

– Как, – поразился Лиценций, – Цицерон не был мудр? Цицерон – начало и конец всей латинской философии!

– Если и соглашусь, что он был мудрым, – спокойно возразил Тригений, – то и тогда далеко не все у него одобряю.

– Что же еще? – воскликнул первый, – ведь отвергая названное положение, ты должен будешь отвергнуть и многое другое!

– Отнюдь, – отвечал второй, – я, например, готов утверждать, что Цицерон только это понимал неправильно. Полагаю, что для вас важным будет лишь то, насколько основательны мои доказательства в пользу того, что я намерен утверждать.

– Давай, – махнул рукой Лиценций, – продолжай. Разве я осмелюсь возражать тому, кому и Цицерон не указ!

Тогда Тригений:

– Я хочу обратить внимание нашего судьи на то, как он сам определил ранее блаженную жизнь. Он сказал, что блажен тот, кто живет той частью своей души, которой следует повелевать всем остальным. Тебя же, Лиценций, прошу согласиться со мною в том (ибо во имя свободы, которую обещает нам философия, я давно уже сбросил иго авторитета), что тот, кто только ищет истину, еще не совершенен.

Подумав, Лиценций уступить отказался.

Тригений:

– Объясни, пожалуйста, почему? Каким образом человек может быть совершенным и, в то же время, еще только искать истину?

Лиценций признал, что тот, кто не достиг этой цели, не совершенен. Но, так как истину знает один только Бог и, возможно, те человеческие души, которые уже оставили тело, то цель человека – совершенным образом искать истину; именно такого человека мы и назовем совершенным, хотя, конечно, совершенным, как человека.

Тригений:

– Итак, человек блаженным быть не может. Да и как мог бы, когда он не в силах достигнуть того, к чему всячески стремится? Но человек может жить блаженно, если руководствуется той частью души, которой должно в нем господствовать. А, потому, он может находить и истину. Или же пусть он сдерживает себя и не стремится к истине, дабы не быть, не найдя ее, несчастным!

– Но ведь именно это, – возразил Лиценций, – и составляет блаженство человека – совершенным образом искать истину. Это и значит – достигать цели, далее которой идти нельзя. Поэтому тот, кто ищет ее не слишком усердно, человеческой цели не достигает. Тот же, кто прилагает к изысканию истины столько старания, сколько он может и должен прилагать, тот блажен, хотя бы ее и не нашел, так как исполнил свой долг. Если же открыть истину невозможно, то лишь потому, что это невозможно в принципе. Наконец, если человеку необходимо быть или блаженным, или несчастным, то как можно считать несчастным того, кто дни и ночи трудится над изысканием истины? Значит, его следует полагать блаженным. Далее, подобное определение, как я думаю, полезно и для меня. Ибо если блажен (а он действительно блажен!) тот, кто живет той частью души, которой прилично повелевать остальными, а часть эта называется разумом, то, спрашиваю, неужели же не живет разумом тот, кто совершенным образом

ищет истину? Если же это нелепость, то почему тогда нельзя назвать блаженным того, кто только исследует истину?

– Мне кажется, – возразил Тригений, – что тот, кто заблуждается, и разумом не живет, и уж тем более не блажен. Заблуждается же всякий, кто всегда ищет и всегда не находит. Ты же все время хочешь доказать одно из двух: или что заблуждающийся может быть блаженным, или что тот не заблуждается, кто никогда не находит того, что ищет.

Лиценций:

– Блаженный заблуждаться не может. Тот же, кто ищет – не заблуждается, поскольку он для того совершенным образом и ищет, чтобы не заблуждаться.

Тригений:

– Возможно, так оно и есть, да только он ведь не находит, а, следовательно, заблуждается. Ты же вообразил, что достаточно ему захотеть не заблуждаться, как он сразу же заблуждаться и перестанет. Но можно ведь заблуждаться и невольно, более того, невольно-то обычно и заблуждаются!

Тут уже я решил вмешаться:

– Вам следует, – говорю, – определить, что такое заблуждение. Тогда вам легче будет обозначить границы вашего спора.

– Я, – отвечал Лиценций, – не способен ни к каким определениям, хотя заблуждение легче определить, чем от него избавиться.

– А я, – сказал другой, – пожалуй, определю. Мне это сделать проще, но не благодаря способностям, а в силу правоты защищаемого мною положения. Заблуждаться – это значит всегда искать и никогда не находить!

– Если бы мне, – заметил Лиценций, – удалось опровергнуть это определение, я счел бы свое мнение надежно защищенным. Но, так как или этот предмет труден сам по себе, или же мне он таким представляется, я попрошу вас отложить вопрос до завтрашнего дня.

Я решил, что ему следует уступить, другие не возражали, и мы пошли на прогулку. Под вечер они было вновь возобновили свой спор, но я его прервал и уговорил оставить все на утро, а нынче отправиться в бани.

Состязание второе

4. Когда на другой день мы уселись вместе, я сказал:

– Продолжайте начатое вчера.

Тогда Лиценций:

– Если не ошибаюсь, мы отложили спор по моей просьбе, так как определить заблуждение было для меня очень трудно.

– Верно, – говорю, – ты прав, и я искренне желаю, чтобы это было для тебя добрым предзнаменованием для всего последующего.

– Итак, выслушай, – сказал он, – что сказал бы я вчера, если бы ты не прервал спор: заблуждение, по моему мнению, есть утверждение лжи, принимаемой за истину. В него никогда не впадет тот, кто полагает, что истину всегда следует искать. Ведь не станет же утверждать ложь тот, кто вообще ничего не утверждает. Поэтому, он не может и заблуждаться, а быть блаженным может весьма легко. Чтобы далеко не ходить за примерами, скажу: если бы мы сами могли проводить каждый день так же, как вчерашний, то и нас вполне можно было бы считать блаженными, ибо мы провели время в великом сердечном покое, освободив дух от всякой телесной грязи и от огня страстей, давая, насколько это человеку возможно, занятие разуму, т. е. жили именно той божественной частью души, в которой, по установленному нами же вчера определению, и заключается блаженная жизнь, хотя, как мне думается, мы ничего не нашли, а только искали. Итак, блаженная жизнь может быть достигаема человеком одним

лишь исследованием истины, пусть даже эта истина не может быть открыта вообще. Обрати внимание, с какой легкостью устраняется твое определение общим понятием! Ты сказал, что заблуждаться – значит всегда искать, но никогда не находить. Но, представь, что кто-то ничего не ищет, но, скажем, в силу своей слепоты, среди бела дня полагает, что наступила ночь. Что же он, по-твоему, не заблуждается?

И, заметь, такого рода заблуждения – самые распространенные, под твое же определение они не подпадают. А вот другой пример. Некто, допустим, хочет попасть в Александрию, знает кратчайший туда путь и этим путем направляется. Он ведь не заблуждается, не так ли? Но на пути ему встречаются различные препятствия, путешествие затягивается и он в дороге умирает. Разве он не всегда искал и никогда не находил, тем не менее, в чем же он заблуждался?

– Он не всегда искал, – возразил Тригений.

– Верно, – ответил Лиценций, – твоя правда. Но именно поэтому твое определение никуда и не годится. Я ведь не сказал, что блажен тот, кто всегда ищет истину. Да это и невозможно; во-первых, потому, что человек существует не всегда; во-вторых, – не может же он, едва только родился, тотчас же отправляться искать истину. А если ты полагаешь, что выражение “всегда” нужно употребить в том случае, если он не дает потеряться ни одной минуте времени с тех пор, как уже может искать, то тебе следует вспомнить о путешественнике в Александрию. Представь, что кто-нибудь с того самого времени, как возраст или занятия позволили ему отправиться в путь, пустился в означенное путешествие, и, хоть и не сбивался с пути никогда, однако умер прежде, чем достиг своей цели. Ты будешь заблуждаться полагая, что заблуждался он, хотя он и не нашел того, поискам чего посвящал все возможное для этого время. Таким образом, не заблуждается тот, кто совершенным образом ищет истину, пускай ее и не находя, и блажен, поскольку живет согласно с разумом. Твое же определение я считаю опровергнутым и спрашиваю, неужто ты полагаешь наш спор еще не решенным?

5. На это Тригений сказал:

– Согласен ли ты, что мудрость есть прямой путь жизни?

Лиценций согласился, но прежде попросил определить, что такое мудрость.

Тригений:

– Неужели она кажется тебе недостаточно определенной самим вопросом? Ты даже согласился с тем, чего я хотел.

Если я не ошибаюсь, прямой-то путь жизни и называется мудростью.

Лиценций отвечал:

– Ничто мне не кажется таким смешным, как подобное определение.

– Возможно, – сказал Тригений, – это и смешно, но я бы попросил тебя, прежде чем смеяться, хорошенько подумать, ибо нет ничего постыднее смеха, который сам заслуживает насмешки.

– Ладно, – согласился Лиценций, – со смехом обождем. Тогда ответь мне вот на что: признаешь ли ты, что смерть противоположна жизни?

Тригений признал.

– А разве путь жизни – это не тот путь, которым следует идти, дабы смерти избежать?

Тригений признал и это.

– Итак, если какой-нибудь путник следует прямой дорогой, так как слышал, что в лесах полно разбойников и сворачивать попросту опасно, то неужто уже из одного этого следует, что сей путник – мудрец?

Я согласился, что, хотя мудрость и такой путь, но все же не один он – мудрость. И, поскольку определение не должно включать в себя ничего чуждого предмету определения, я попросил снова попробовать определить, что же такое мудрость.

Тригений долго молчал, а потом сказал:

– Определи, пожалуй, снова: мудрость есть прямой путь, ведущий к истине.

– И это, – возразил Лиценций, – легко опровергается. Разве у Вергилия мать не говорит Энею: "Только иди, и куда поведет тебя путь, свой шаг направляй"? Следуя этим путем, он доходит туда, куда сказано, т. е. к истине. Нас-таивай, если угодно, что можно считать мудростью то, куда он ставил ногу. Впрочем, я совершаю глупость, стараясь опровергнуть это твое определение, поскольку оно как нельзя лучше подтверждает мое мнение. Ибо мудростью ты назвал не саму истину, а путь, ведущий к ней. Поэтому тот, кто пользуется этим путем, вполне пользуется и мудростью; тот же, кто пользуется мудростью, тот необходимо и мудр. Итак, мудрым будет тот, кто совершенным образом ищет истину, хотя бы он этой истины и не достиг, так как под путем, ведущим к истине, по моему мнению, следует понимать именно исследование истины. Далее, я утверждаю, что мудрец не может быть несчастлив. Всякий же человек или несчастен, или блажен. Следовательно, блаженным делает не только открытие, но уже только одно исследование истины.

Тогда Тригений, смеясь, сказал:

– Поделом мне, раз я так доверчиво открываюсь своему противнику! Я ведь, ты знаешь, не больно силен по части определений. Впрочем, что было бы, если бы и сам я начал просить тебя определить что-нибудь, а затем, притворившись, что ничего не понял, стал настаивать на определении слов, входящих в первое определение, потом – и во второе, и так без конца? Что, казалось бы, сложного в определении понятия "мудрость"? Однако же, сам не знаю почему, едва только это понятие как бы выйдет из гавани нашего ума, тотчас же встречается шквал всевозможных порицаний. А, поэтому, или давай откажемся от определения мудрости вообще, или же пусть наш судья примет его под свое покровительство.

Видя, что близится ночь, а также принимая во внимание то, что возникает уже как бы новый вопрос, я решил отложить диспут на другой раз. Тут следует заметить, что мы начали наши рассуждения ближе к вечеру, так как большую часть дня провели, распоряжаясь по хозяйству, а затем изучали первую книгу Вергилия.

Состязание третье

6. Едва рассвело, мы тотчас приступили к продолжению дела. Я сказал:

– Ты, Тригений, попросил вчера, чтобы я оставил обязанности судьи и взял под защиту мудрость, как будто кто-либо из вас является ее противником или же, защищая ее, наносит ей тем самым урон! А, между тем, вы оба стремитесь к ней, хотя никак не можете сойтись в ее определении. Далее, даже если ты считаешь себя несостоятельным в определении мудрости, то это отнюдь не означает, что тебе следует отказаться от защиты своего мнения. Поэтому все, что я намерен сделать, это дать свое определение мудрости, которое, впрочем, даже и не мое, и не ново, но принадлежит еще мужам древности. Я удивляюсь, что вы не вспомнили о нем сами. Ведь не в первый же раз вы слышите, что мудрость – это знание вещей человеческих и божественных.

Тут Лиценций, который, как мне казалось, должен будет надолго задуматься, сразу подхватил:

– В таком случае, я хотел бы спросить, почему мы не зовем мудрым того хорошо нам всем знакомого распутника, столь охочего до женщин известного поведения? Я имею в виду Альбицерия из Карфагена, который на протяжении многих лет отвечал всем желающим на их вопросы и, вспомни, как бывали удачны эти ответы и как точны! Я бы мог привести множество примеров, но вы ведь сами отлично их знаете. Не тебе ли, досточтимый судья, он помог найти пропавший кохлеарий, а когда твой слуга, несший ему деньги, по дороге проворовался, то именно Альбицерий, догадавшись о содеянном (хоть и не знал, сколько денег ты ему передал), уличил вора и заставил его все вернуть сполна. От тебя же мы слышали историю, поведенную тебе многомудрым Флакцианом, о том, как договорившись о покупке имения, тот спросил у

нашего прорицателя о своих замыслах (которые держал в тайне), и Альбицерий, ни секунды не медля, тут же рассказал не только о принятом Флакцианом решении, но даже упомянул название имения, столь сложное и нелепое, что сам покупатель никак не мог его запомнить. Нам с вами известно еще немало такого рода примеров, а потому я спрашиваю: неужели вещи, о которых спрашивали Альбицерия, не были вещами человеческими? И возможно ли, чтобы без знания вещей божественных он мог отвечать так точно и истинно? А коли так, то Альбицерий был мудр, в случае, конечно, если мы примем определение, что мудрость – знание вещей человеческих и божественных.

7. На это Тоигепий отвечал:

– Я не называю знанием то знание, заявляющий о котором иногда обманывается. Ибо знание состоит не только в понимании вещей, но в таком понимании, при котором нет места никакому ни заблуждению, ни колебанию. А потому правы те философы, которые утверждают, что знание присуще мудрым, которые, помимо непосредственного восприятия, также и в самих себе содержат образы того, что созерцают и чему следуют. Тот же, кого ты привел в пример, как нам всем известно, нередко и ошибался. Как же я могу назвать его знающим, когда он порою лгал, а ведь я не назвал бы его знающим даже тогда, когда он был бы всегда прав, но правду эту говорил нерешительно. Сказанное мною относится ко всем толкователям, астрологам и провидцам. Или, возможно, вы приведете хоть один пример, который бы меня опровергал? О пророках же я умолчу, ибо они пророчествовали не своим разумением. Далее, что касается твоего утверждения, будто бы человеческие вещи – этр вещи, принадлежащие людям, ответь, считаешь ли ты что-нибудь нашим из того, что может дать или отнять у нас случай? И когда ты говоришь о знании человеческих вещей, имеешь ли ты при этом в виду знание о своем и чужом имуществе, имениях, деньгах и т. п.? А, быть может, истинное знание человеческих вещей – это знание света благоразумия, красоты воздержания, силы мужества, святости справедливости? Ведь именно это мы, не боясь никакой фортуны, только и можем назвать своим. И если бы упомянутый тобой Альбицерий имел именно это знание, то, поверь, никогда не жил бы столь неводержано и безобразно. Что же касается его угадываний, то, возможно, если что-либо приходит нам на ум или держится у нас в памяти, оно также может ощущаться некоторыми презренными воздушными существами, которых зовут демонами и которые, пожалуй, превосходят нас остротой и тонкостью восприятий, но, убежден, уступают разумом. Как это все происходит – нам понять не дано, но, удивляясь, скажем, пчелке, чье непостижимое для нас чутье неизменно выводит ее к меду, мы ведь еще не ставим ее выше себя и даже не сравниваем с собой.

8. Затем, если вещи божественные, а с этим согласны все, лучше и священнее вещей человеческих, то как мог постигнуть эти вещи тот, кто даже не знал, что это такое? Итак, Альбицерий не был причастен знанию ни человеческих, ни божественных вещей, и его примером ты напрасно стараешься подорвать наше определение. Наконец, если мы должны считать ничтожным и презирать все, кроме вещей божественных и человеческих, то скажи, в каких вещах этот твой мудрец ищет истину?

– В божественных, – отвечал Лиценций, – поскольку добродетель, хоть и находится в человеке, несомненно – божественна.

Тригений:

– Значит Альбицерий знал уже те вещи, которые твой мудрец всегда только ищет?

На это Лиценций:

– Да, он знал вещи божественные, но не те, которые ищет мудрец. Ибо кто всерьез станет полагать, что мудрец может заниматься гаданием? Поэтому твое определение не вполне корректно.

Тогда Тригений сказал:

– Я не стану защищать данное определение, ибо не я его и высказал. От тебя же я хочу услышать ответ на следующее: полагаешь ли ты, что Альбицерий знал истину?

– Полагаю.

– Значит, знал лучше твоего мудреца?

– Никоим образом, – отвечал Лиценций, – ибо ту истину, которую ищет мудрый, никогда не сможет постигнуть не только сумасбродный ворожей, но и сам мудрец, пока живет еще в этом теле. Но сама эта истина такова, что лучше ее искать, и не находить, нежели иную какую обрести.

– Чтобы справиться с подобными изысками, – говорит Тригений, – я вынужден прибегнуть к помощи определения. Если прежнее определение показалось тебе неправильным потому, что охватывает большее, чем должно, то попробую его уточнить: мудрость – знание вещей человеческих и божественных, но только таких, которые относятся к жизни блаженной.

– Есть и там мудрость, – возразил Лиценций, – да только не одна, и если прежнее определение как бы захватывает чужое, то это – упускает и свое. Первое можно назвать жадным, а второе – глупым. Ибо мудрость (попробую дать и свое определение) – не одно лишь знание, но и тщательное исследование вещей человеческих и божественных, относящихся к блаженной жизни. А если угодно будет тебе разделить это определение на части, то та часть, которая говорит о знании, относится к Богу, а та, что об исследовании, – к человеку. Той мудростью блажен Бог, а этой – человек.

– Выходит, – сказал Тригений, – твоего мудреца следует пожалеть, ибо он понапрасну теряет свой труд!

– Почему же напрасно, – заметил Лиценций, – когда он ищет с такой выгодой? Ведь уже только потому, что он ищет, он мудр, а чем он мудрее, тем блаженней, поскольку все больше и больше освобождает на своем пути свой ум от телесных тенет и, сосредоточиваясь в самом себе, не позволяет терзать себя различным похотям, но всегда в спокойном созерцании обращается к себе и к Богу, чтобы и здесь разумно воспользоваться тем блаженством, которое мы выше признали, и в последний день жизни оказаться подготовленным получить то, к чему особенно стремился и, испытав в полной мере блаженство человеческое, насладиться по заслугам и блаженством божественным.

Заключение

9. Тут, вижу, Тригений задумался надолго, и говорю:

– Уверен, что, поразмыслив, Тригений найдет немало доводов против любого из твоих положений. Посуди сам: мы рассуждаем о блаженной жизни, блаженный же необходимо должен быть мудрым, так как глупость (в чем согласятся с нами даже глупцы) – несчастье. Тригений заявил, что мудрый должен быть совершенным, а таковым никак нельзя считать того, кто истину еще только ищет. Значит, ищущий еще не блажен. Когда ты попытался сослаться на величие авторитета, он поначалу стушевался перед именем Цицерона, но тотчас оправился и, проявив благородство духовной свободы, возвратил себе утраченные было позиции и спросил, считаешь ли ты совершенным того, кто еще только ищет. Ход его мысли был очевиден: если ты с этим согласишься, он вновь возвратится к самому началу и попробует доказать, что совершенен тот человек, который строит свою жизнь по законам разума, откуда сделает вывод, что блаженным может быть только совершенный. Ты, однако, заметил ловушку и назвал совершенным тщательного, т. е. совершенного исследователя истины. Таким образом, ты стал защищаться определением Тригения, согласно которому блаженна жизнь того, кто живет по законам разума. Потеряв свою первоначальную опору, как бы лишившись убежища, ты уж было совсем проиграл спор, но, получив временную передышку, решил изменить тактику и защищаться тем же, чем и любимые тобой академики, чье мнение ты отстаиваешь, а именно опре-

делением заблуждения. Затем ты перешел к определению мудрости, причем твои доводы были столь хитроумны и коварны, что, наверное, разгадать и опровергнуть их не смог бы даже твой помощник Альбицерий. Тригений же, сохраняя бдительность, сумел настолько убедительно им противостоять, что, казалось, совсем бы тебя уничтожил, если бы ты, в заключение, не подкрепил себя новым определением, согласно которому человеческая мудрость состоит в исследовании истины, каковое ведет к душевному покою, рождающему блаженную жизнь. Будет ли он отвечать на это, или нет – дело его; я же полагаю, что мы уже достаточно занимались данным вопросом и, потому, попробую закрыть его несколькими словами.

Решив побудить вас исследовать истину, я захотел сперва выяснить, высоко ли вы ее цените. Высказанное всеми участниками состязаний высокое к ней уважение меня, вашего наставника, не может не обрадовать. Ведь желая быть блаженными, мы должны либо познать истину, либо (по определению Лиценция) тщательно ее исследовать. А это значит, что отныне истина будет главным предметом наших устремлений.

На этом мы и завершим наш диспут и, записав его, отправим твоему, Лиценций, отцу, которого я искренне желаю расположить к занятиям философией. Надеюсь, прочитав это письмо, из которого он узнает, что сын его настолько в ней преуспел, он и сам воспламенится к подобного рода занятиям. Ты же, Лиценций, раз уж тебе так нравятся академики, приготовь к их защите более сильные аргументы, ибо в следующий раз я намереваюсь взяться за них всерьез.

Тут нам сообщили, что обед готов, и мы поспешили к столу.

Книга вторая

1. Если бы из безусловно правильного утверждения, что человек, не занимающийся науками и не интересующийся познанием истины, не может быть мудрым, необходимо следовало, что ищущий истину непременно ее находит, то, конечно, вся ложь академиков, их упрямство и своенравие, а, иногда, как мне кажется, и искренние заблуждения, характерные для их эпохи, были бы похоронены вместе с их временем, вместе с телами тех же Карнеада и Цицерона. Но, вследствие ли различных житейских волнений (столь известных тебе, Романиан), или же какой-то умственной оцепенелости, или из-за безрассудства, а, возможно, отчаявшись истину найти (ведь мерцание мудрости не так легко зрится умами, как этот свет – глазами), или, наконец, в силу общего заблуждения народов, следуя которому люди, пребывая в ложном убеждении о найденной будто бы ими истине, и не ищут ее тщательно – если вообще ищут, и отвращаются от желания искать, происходит то, что знание ее достигается редко и немногими. Поэтому-то оружие академиков, когда с ними приходится бороться, кажется непобедимым, причем не только мужам посредственным, но остроумным и хорошо образованным. Поэтому, как против волнений и бурь фортуны мы должны запастись веслами всевозможных добродетелей, так преданно и благочестиво нам следует молить о божественной помощи, чтобы постоянное стремление к упражнению в полезных науках удерживало правильный курс, с которого не заставил бы уклониться никакой случай, препятствующий войти в безопасную и приятную гавань философии. Это – главная твоя проблема; из-за этого я о тебе и беспокоюсь; поэтому же не перестаю я ежедневно молить о попутных тебе ветрах. Молю же я саму Силу и Мудрость верховного Бога. Ибо что Она, как не Сын Божий, о котором учат нас таинства.

Но ты можешь помочь моим молитвам, если приложишь и сам вместе с нами свое старание не только обетами, но и доброй волей, и той естественной высотой твоего ума, ради которой я ищу тебя, которой наслаждаюсь, которой всегда удивляюсь, которая в тебе, – о, несчастье, – заволакивается, как молния – облаками частных дел и скрывается от многих, почти от всех, но от меня и от твоих ближайших друзей она укрыться не может. Мы часто не только явственно слышали твои громовые раскаты, но и видели некоторые блистания, свойственные молниям. Ибо кто, – чтобы умолчать до времени об остальном, – кто, говорю, так неожиданно когда-нибудь загремел и блеснул таким светом ума, чтобы под одним мощным натиском разума, под своего рода молнией воздержания, в один прекрасный день навсегда умерла похоть, накануне самая необузданная? Итак, неужели никогда более не пробьется наружу эта сила, не обратит в ужас и оцепенение многих отчаявшихся, и, проговорив на земле как бы некие знамения будущего, снова отбросив тяготу телесную, не возвратится на небо? И не напрасно ли все это Августин сказал о Романиане? Нет, этого не допустит Тот, кому я отдался всецело, кого теперь я начал снова узнавать.

2. Итак, приступи со мною к философии. В ней есть все, что обыкновенно удивительным образом возбуждает тебя, часто грустного и сомневающегося. В тебе я не боюсь встретить ни нравственной беспечности, ни умственной тупости и лени. Ибо, когда удавалось нам воспользоваться некоторым отдыхом, кто оказывался бодрее тебя в речах, кто проникательнее? Неужели же я не отплачу тебе благодарностью? Разве я не в долгу перед тобой? Бедного юношу, который шел для занятий наукой в чужую сторону, ты принял в дом на содержание, и что еще важнее – в распоряжение душевное. Сироту, потерявшего отца, ты утешил дружбой, одушевил увещаниями, поддержал помощью. В самой муниципии нашей покровительством, дружбой, знакомством с домом твоим ты сделал меня почти одинаково с тобою знаменитым и знатным. А когда я возвращался в Карфаген для занятия более почетной преподавательской кафедры и, скрывая эту новость от других, поделился ею с тобой, то, хотя по присущей тебе любви к родине (ибо там я уже преподавал) некоторое время ты и удерживал меня, однако

потом, не будучи в состоянии победить стремления юноши к тому, что казалось ему лучшим, с удивительной кротостью благорасположения обратился из отговаривающего в помощника. Ты снабдил меня в дорогу всем необходимым. Да и там ты, который охранял колыбель и как бы гнездо моих научных занятий, поддержал и первые мои опыты, когда я осмелился летать. Даже когда я, в твоё отсутствие и без твоего ведома отплыл по морю, ты несколько не рассердился за то, что я по обыкновению не посоветовался прежде о том с тобой, и остался верен нашей дружбе; и тебя не столько волновали оставленные на глазах твоих учителем дети, сколько тайные стремления и чистота моего сердца.

Наконец, если я достиг хоть какого-нибудь покоя; если избежал оков излишеств и прихотей; если, сложив с себя тяготы мертвых забот, я перевожу дух, прихожу в чувство, возвращаюсь к самому себе; если ищу с особым старанием истину; если начинаю уже находить ее; если надеюсь, что достигну самого высшего ее предела – то это ты воодушевил меня; ты дал мне толчок; ты это сделал, Романиан! А чьим ты был служителем, я провижу пока более верой, чем понимаю разумом. Ибо когда я лично излагал тебе внутренние движения моей души и часто уверял, что никакая фортуна не кажется мне счастливее той, которая дает досуг для философствования, что нет более блаженной жизни, чем жизнь, посвященная философии, но что сам я связан и обязанностями по отношению к родным, которые зависят от исполнения мною моего долга, и множеством нужд, рождаемых или ложным стыдом, или безвыходной бедностью родных, – ты пришел в такой восторг, так воспламенился святым желанием этой жизни, что сказал, что если бы ты каким-либо образом сбросил с себя оковы известных докучливых тяжб, то разбил бы и мои оковы, сделав меня участником в своем имуществе.

И после того, как, придав нам сил, ты оставил нас, мы никогда не переставали жаждать философии и не думали решительно ни о чем другом, кроме той жизни, о которой решили и согласились между собой. Действуя в этом направлении постоянно, (хотя действовали и с недостаточной твердостью), мы думали однако, что трудились изрядно. И так как не было еще того пламени, которое, разгоревшись, впоследствии охватило нас, – мы считали величайшим пламенем то, которым лишь слегка согревались. Когда же случилось неожиданно, что некоторые полные содержания книги, обдавая нас, как говорит Цельсии, благовониями Аравии, оросили мельчайшими каплями драгоценнейших масел этот огонек, – они раздули пожар невероятный. Да, Романиан, невероятный и неожиданный даже для меня самого! Какой тогда почет, какая пышность и желание пустой славы, какая, наконец, отрада и привязанность этой смертной жизни могла тогда иметь значение для меня? Я совершенно весь и вдруг возвратился в самого себя. Только, признаюсь, я оглянулся, как бы с дороги, на ту религию, которая внушена была нам с детства и проникла в самую глубину души, но привлекала меня к себе без моего сознания. И вот, колеблясь и торопливо, как бы в замешательстве хватаю я апостола Павла. Нет, говорю я, они не имели бы в действительности такой силы и не жили бы так, как они, несомненно, жили, если бы их писания и правила противоречили бы этому великому благу! И я перечитал его всего с глубочайшим вниманием.

Тогда, как ни мал был озаривший меня свет, философия явилась мне в такой красоте, что если бы я мог показать ее, не говорю уже тебе, который и не зная ее, всегда к ней влекся с пламенным желанием, но и самому врагу твоему, который не столько приучал тебя к ней, сколько отвлекал, – то и он, отвергнув и забыв и теплые воды, и увеселительные загородные места, и изящные и блестящие пиры, и домашних пантомимов, и все наконец, что сильно влечет его к каким бы то ни было удовольствиям, полетел бы навстречу ее прелестям с любовью нежной и святой, удивленный, взволнованный желанием, охваченный страстью. Ибо есть и у него, в чем нужно признаться, некоторая душевная красота, или лучше – как бы вверенные ниве семена красоты, которые, в своих усилиях прорасти в истинную красоту, пускают свои побеги извивисто и безобразно между шероховатостью пороков и тернием ложных мнений, но все же не перестают пробиваться, и тем немногим, кто всматривается в чашу зорко и внима-

тельно, дают себя замечать. Отсюда-то известное его гостеприимство; отсюда-то в его пиршествах множество приправ радушия; отсюда самое изящество, блеск, высшая степень приличия во всем, и во всем разлитая тонкая наружная вежливость.

3. Это на вульгарном языке называется филокалией. Не пренебрегай предметом из-за вульгарности названия. Ибо филокалия и философия названы почти одинаково, и представляются, да и в действительности, – во многом родственны друг другу. Что такое философия? – любовь к премудрому. А что такое филокалия? – любовь к прекрасному. Не веришь? – справься у греков. Ну, а что такое мудрость? Разве она не есть истинно-прекрасное? Выходит, философия и филокалия – сестры, и родились они от одного и того же отца; но хотя вторая совлечена силками похоти с неба и заперта простонародьем в клетку, однако самое ее имя напоминает нам, что не следует спешить ее осуждать. И ее-то, опозоренную, лишенную крыльев, в нужде, свободно парящая сестра узнает часто, но освобождает редко. Филокалия и не знала бы, откуда ведет свой род, если бы не философия. Всю эту басню (видишь, как я неожиданно сделался Эзопом!) Лиценций сообщит тебе в более приятном виде, в стихах, ибо он поэт почти первостепенный. Итак, этот твой враг, если бы, полечив и раскрыв глаза, смог увидеть истинную красоту, будучи любителем только ложной, – с каким наслаждением он принял бы к лону философии! А встретив там тебя, с какими истинно братскими объятиями он поспешил бы к тебе навстречу! Ты удивляешься этому и, может быть, смеешься. А если я поясню это соответственно высказанному положению? Что, если бы он мог услышать, по крайней мере, голос философии? Удивляйся, пожалуй, но не смейся и не отчаивайся. Поверь мне, что отчаиваться не следует ни за кого, а за таких менее всего. Есть достаточно примеров тому, как этот род пернатых легко ускользает, улетает к великому удивлению многих заключенных.

Но возвратимся к нашим делам. Начнем философствовать, Романиан. Скажу тебе приятную новость: твой сын уже начал занятия философией. Я его сдерживаю, чтобы изучив предварительно необходимые науки, он приобрел побольше силы и твердости. За свое же знакомство с этими науками, если я хорошо тебя узнал, ты не бойся. Тебе я желаю только свободного воздуха. Ибо что могу сказать я о твоих природных дарованиях? Если бы они не были так редки в людях, как они несомненны в тебе! Останется два затруднения и препятствия к открытию истины – но и относительно них я не испытываю особых опасений касательно тебя. Я хочу, чтобы ты не презирал себя и не отчаивался в возможности ее найти, или не подумал, что ты уже нашел ее. Если в тебе есть первое, то его может устранить последующее состязание. Ты ведь частенько сердился на академиков, – сердился тем более, чем менее их изучил, но и тем охотнее, чем с большей любовью устремлялся к истине.

Итак, с твоего соизволения, я вступлю в состязание с Алипием и легко заставлю тебя убедиться в том, в чем хочу, по крайней мере как в вероятном. Ибо самой истины ты не увидишь, пока всецело не посвятишь себя философии. Что же касается второго, т. е., что ты можешь воображать, что нашел что-нибудь, хотя и оставил нас ищущим и сомневающимся, то если и закралось в твою Душу какое-либо суеверие, оно будет, конечно, отброшено, как только я пошлю тебе некое состязание между нами “О границе”¹, или как только побеседую с тобою лично.

В настоящее время я только и занимаюсь тем, что очищаю себя самого от ложных и пагубных мнений. Поэтому не сомневаюсь, что мне лучше, чем тебе. Есть лишь одно, в чем я завидую твоей фортуне, – что ты один пользуешься моим Люцилием. Но, может быть, завидно и тебе, что я назвал его моим? Но зачем, однако же, мне просить тебя, чтобы облегчил ты мою тоску о нем? Попроси за меня сам себя, потому что это твой долг. Я же скажу вам обоим: остерегайтесь считать себя знающими что-либо кроме того, что вы изучили по крайней мере до такой степени, до какой знаете, что один, два, три и четыре, сложенные вместе, дают в сумме

¹ De Regione, не дошедшее до нас сочинение блаж. Августина.

десять. И, вместе с тем, берегитесь прийти к мысли, что вы в философии истины не узнаете, или что она не может никоим образом быть познана. Поверьте мне, или лучше Тому, Кто говорит: “Ищите и обрящете” (Мф. VI, 7), что в познании не следует отчаиваться, и что истина может явиться яснее, чем вышеприведенные числа. Теперь приступим к предложенному. Немного поздно стал я опасаться, чтобы это начало не превысило допустимой меры, и опасаться не без основания. Ибо мера, без всякого сомнения, божественна. Но она обольстила меня, потому что приятно вела. Буду осмотнительнее, когда сделаюсь мудрым.

Состязание первое

4. После предыдущего разговора, изложенного в первой книге, мы в продолжении почти семи дней диспутами не занимались, хотя перечитали и разобрали только три книги Вергилия. Однако же при этих занятиях Лиценций до такой степени увлекся изучением поэзии, что мне показалось необходимым несколько попридержать его. Ибо отвлекать себя от этого занятия каким-либо другим предметом он позволял уже неохотно. Впрочем напоследок, когда я, насколько мог, восхвалил свет философии, он без принуждения приступил к рассмотрению отложенного нами вопроса об академиках. По счастью выпал такой светлый и погожий день, что, казалось, он только для того и был создан, чтобы светло успокоить наши души. Итак, мы встали в тот день пораньше и некоторое время провели с селянами, как того требовали хозяйственные нужды и само время года.

Затем Алипий сказал:

– Прежде чем услышу ваш спор об академиках, я попрошу прочитать мне ту вашу речь, которая была закончена в мое отсутствие, ибо в противном случае, так как повод к настоящему состязанию возник оттуда, я могу или ошибиться, или затрудниться в понимании сути дела.

Когда это было сделано и мы увидели, что на это ушло почти все дополуденное время, мы решили возвратиться с поля домой. При этом Лиценций сказал:

– Прошу тебя, не сочти за труд вкратце повторить мне до обеда мнение академиков во всей его полноте, чтобы я не упустил из него чего-либо, что могло бы сослужить мне добрую службу.

– Изволь, – говорю, – и тем охотнее, что иначе, занятый этой мыслью, ты будешь плохо обедать.

– Ну, – засмеялся он, – на этот счет ты можешь быть покоен: я часто замечал, что многие, а особенно мой отец, чем больше озабочен, тем плотнее ест. Да ты сам, когда я размышлял над стихотворными метрами, разве заметил хоть раз, чтобы моя озабоченность оставляла стол нетронутым. Я и сам, признаться, удивляюсь: как это выходит, что мы с особым аппетитом налегаем на еду именно тогда, когда душа устремлена к другому? И как объяснить, что когда и руки, и зубы наши заняты, душа над нами властвует?

– Выслушай лучше, – говорю я, – сведения об академиках; потому что иначе, занятый своими метрами, ты будешь не только в пище, но и в вопросах без метра².

Если же я что-либо скрою в пользу своего мнения, пусть уличит меня Алипий.

– С твоей стороны нужна полная добросовестность, – заметил Алипий, – потому что если бы пришлось опасаться, что ты что-нибудь скроешь, то мне с трудом удалось бы уличить того, кто меня всему этому и обучил. Кроме того, я несколько не сомневаюсь, что побуждения к раскрытию истины лежат для тебя не в желании победы, а в сердце твоём.

5. – Поступлю добросовестно, – говорю я, – так как ты вправе этого требовать. Академики полагают, что человек не может достигнуть познания только тех вещей, которые относятся к области философии (Карнеад утверждал, что об остальном он не заботится); тем не

² Игра слов: метр – metrum, означает и стихотворный метр, и меру вообще.

менее, человек может быть мудрым, и все дело мудрого они (как и ты, Лиценций, утверждал в прежней речи) видели в изыскании истины. Отсюда следовало, что мудрый не доверяет ничему: ибо он необходимо заблуждался бы (что со стороны мудрого преступно), если бы доверял вещам сомнительным. А что все сомнительно, они не только говорили, но и подтверждали многочисленными доказательствами. Положение, что истины постигнуть нельзя, они вывели из известного определения стоика Зенона, что за истину можно принять то, что так воспринималось душою оттуда, откуда было, как не могло восприняться оттуда, откуда не было. Короче и яснее это выражается так: истина может быть познаваема по тем признакам, каковых не может иметь то, что ложно. Они употребили все свои усилия, чтобы доказать, что распознать это решительно невозможно. Отсюда и выдвинуты были в защиту подобного учения разногласия философов, обманы чувств, сны и галлюцинации, всевозможные софизмы. А так как от того же Зенона они узнали, что нет ничего более недостойного, чем мнение, то и построили весьма лукаво такое положение: если-де познать ничего нельзя, а мнение весьма недостойно, то мудрый ничего никогда не станет утверждать.

Это возбудило против них большую ненависть. Казалось совершенно естественным, что не станет ничего делать тот, кто ничего не утверждает. Казалось, что академики изображали своего мудреца, которого считали ничего не утверждающим, всегда спящим и уклоняющимся от исполнения любых обязанностей. Дабы избежать этого, они ввели понятие вероятного, что называли также истиноподобным, стали утверждать, что мудрый никоим образом не перестает исполнять обязанности, так как знает, чему следовать, но истина-де скрывается от него или потому, что заслонена некоторым естественным мраком, или потому, что не выделяется из множества подобных вещей. Впрочем, они называли великой деятельностью мудрого и самое воздержание, и как бы колебание в доверии. Мне кажется, что я изложил коротко все, как ты, Алипий, и желал, и ни в чем не отступил от твоего требования, т. е. поступил, как говорится, добросовестно. Если же сказал не так, как оно есть, или чего-то не сказал, то сделал это невольно. То добросовестно, что высказывается по лучшему разумению. Человек должен смотреть на человека обманувшегося как на такого, которого следует учить, а на обманывающего как на такого, которого следует опасаться: первый из них требует доброго учителя, а последний – осторожного ученика.

Тогда Алипий сказал:

– Я очень благодарен тебе, что ты и Лиценция удовлетворил, и с меня снял тяжелое бремя. Ибо не столько следовало опасаться тебе что-нибудь недосказать ради испытания меня (ибо как и могло это быть иначе?), сколько мне, если бы в чем-нибудь оказалось необходимым уличить тебя. Теперь же, будь столь любезен, объясни и то, чего недостает не столько вопросу, сколько самому спрашивающему: в чем отличие новой Академии от древней?

– Признаюсь, – ответил я, – это скучная вещь. Ты окажешь мне благодеяние (ибо я не могу отрицать, что то, о чем ты упоминаешь, относится к делу), если, пока Я немного отдохну, потрудишься различить при мне эти школы и объяснишь происхождение новой Академии.

– Я подумал бы, – улыбнулся он, – что ты решил отбить охоту от обеда и у меня, если бы не считал тебя более перепуганным недавно Лиценцием, почему его требование и заставило нас распутать ему именно до обеда все, что есть в этом запутанного.

Но когда он хотел продолжать, наша мать так настойчиво стала звать нас к обеду, что говорить уже было некогда.

Состязание второе

6. Отобедав, мы возвратились на луг. Алипий сказал:

– Повинуюсь твоему приговору и не смею отказываться. И если ничто от меня не ускользнет, я буду благодарен за это как твоему учению, так и своей памяти. Если же я случайно в чем

ошибусь, ты исправишь ошибку, чтобы и в будущем я не боялся подобного рода поручений. По моему мнению, разрыв не столько произошел у самой новой Академии с древней, сколько спровоцирован стоиками. Разрывом не следует еще считать то, что потребовалось разрешить и подвергнуть обсуждению новый вопрос, внесенный Зеноном. Мысль о невозможности адекватного восприятия не без основания считается принадлежащей умам и древних академиков, хотя, конечно, тогда она не считалась столь принципиальной. Доказать это можно, сославшись на авторитет самого Сократа, Платона и других древних, которые думали, что они до тех лишь пор могли считать себя застрахованными от заблуждений, пока слепо не доверялись впечатлениям; впрочем, нарочитых рассуждений об этом предмете они в свои школы не ввели и никогда не выдвигали на первый план вопроса, может или не может быть воспринимается истина. Когда же Зенон поставил его резко и ново и стал утверждать, что ничего нельзя познать, кроме того, что будет настолько истинно, что позволит отличить себя от ложного очевидно несходными с ним признаками, и что мудрый не должен подчиняться установившимся мнениям, – тогда, услышав об этом, Архизелай стал отрицать возможность для человека открыть что-либо в этом роде, а, вместе с тем, и допустимость верить свою жизнь пагубному руководству мнения. Отсюда он вывел и заключение, что доверять ничему не следует.

Но когда дело обстоит так, что древняя Академия казалась скорее усилившейся, чем ослабленной в результате нападков, явился слушатель Филона Антиох, который, будучи по мнению некоторых более любителем славы, чем истины, вызвал враждебное столкновение мнений той и другой Академии. Он говорил, что новые академики пытаются ввести нечто необычное и совершенно чуждое образу мыслей древних. Он ссылаясь на свидетельства древних физиков и других великих философов, нападал и на самих академиков, которые утверждали, что следуют истиноподобному, хотя признавались, что самой истины не знают. Собрал он и много других доказательств, которые я не считаю нужным приводить в данное время. Более же всего он отстаивал мысль, что мудрый может воспринимать истину. Таково, по моему мнению, было разногласие между новыми и древними академиками. Если это было иначе, я попрошу тебя ознакомить Лиценция, да и всех нас с этим предметом более обстоятельно. А если было так, как я сумел передать, то продолжите начатое состязание.

7. Тогда я спросил:

– Насколько удовлетворяет тебя, Лиценций, наша более длинная, чем я ожидал, речь?

Ты слышал, каковы твои академики?

Он, скромно улыбаясь и несколько взволнованный этим обращением к нему, отвечал:

– Мне жаль, что я с таким упорством возражал Тригению, что блаженная жизнь состоит в исследовании истины. Сам этот вопрос так меня волнует, что я почти несчастен, и должен действительно казаться вам таким, если в вас есть хоть сколько-нибудь человеколюбия. Но из-за чего же я, нелепый, мучу себя и других? Разве я боюсь чего-то, имея опору в самой справедливости защищаемого мнения? Что бы там ни было, но я уступлю только истине.

– Нравятся ли тебе, – говорю я, – новые академики?

– Весьма.

– Итак, по твоему мнению, они учились истине?

Тогда он, готовый было сразу согласиться, но, заметив усмешку Алипия, став более осторожным, несколько смешался, а потом сказал:

– Повтори свой вопрос.

– Истинно ли, – говорю я, – по твоему мнению, учили академики?

Он снова надолго задумался, а потом ответил:

– Истинно ли, не знаю; но – вероятно. Ибо я не вижу, чему более следовать.

– А знаешь ли, что вероятное они называют истиноподобным?

– Да, слышал.

– И, значит, мнение академиков следует считать истиноподобным?

– Да.

– Прошу же теперь, – говорю я, – слушать внимательно. Если бы кто-нибудь, увидев твоего брата, стал бы утверждать, что он похож на твоего отца, а самого отца твоего не знал бы, – не показался бы он тебе безумным и нелепым?

И после этого он долго молчал, а потом сказал:

– Мне это не кажется несообразностью.

Когда я начал было возражать ему, он воскликнул:

– Прошу тебя, подожди немножко!

Затем, улыбнувшись, продолжил:

– Скажи мне, пожалуйста, ты уже уверен в своей победе?

На это я отвечал:

– Положим, что уверен; но ради этого ты не должен оставлять защиту своего мнения, особенно потому, что это состязание предпринято нами ради твоего упражнения и для сообщения уму гибкости в спорах.

– Да разве я читал академиков, или настолько знаком с науками, во всеоружии которых ты выступаешь против меня?

– Академиков, – заметил я, – не читали и те, кто впервые стали защищать это мнение. А если тебе недостает учености и большого запаса сведений, то все же ум твой не настолько должен быть бессилен, чтобы ты, не предприняв даже попытки возражать, сник от нескольких моих слов и вопросов. Но я начинаю опасаться, как бы Алипий не заступил на твое место скорее, чем я бы того желал. Имея же его своим противником, я буду считать свое положение не в такой степени безопасным.

– О, если бы, – отвечал он, – я был уже побежденным, чтобы услышать, наконец, а еще лучше увидеть вас рассуждающими: более счастливого зрелища мне не может и представиться. Так как вам все это угодно как бы сливать воедино, а не разливать, потому что выпадающее из уст вы ловите стилем и не позволяете, как говорится, падать на землю, и все это можно будет вам прочесть, то, когда поднесут это к своим глазам те, между которыми ведется речь, наполнит ли это превосходное состязание душу их особой пользой – не знаю, но что наполнит большим удовольствием, – это точно.

– Благодарим, – сказал я. – Но эта неожиданная твоя радость заставила тебя необдуманно сказать, что для тебя не могло бы представиться более счастливого зрелища. А если ты увидишь своего отца, который, после столь долгой жажды, припав с большим, чем кто-либо жаром к философии, станет размышлять и рассуждать с нами об этом? Лично я буду считать себя в этот момент счастливейшим из смертных. А ты, что ты будешь чувствовать при этом?

Тут он прослезился, а когда снова стал в состоянии говорить, подняв руки и глаза к небу, сказал:

– Когда, о Боже, увижу я это? Но надежды на Тебя не должно терять ни в чем.

На какое-то время мы все, забыв о предмете нашего состязания, готовы были отдаться слезам, но, преодолевая взволнованность и приходя в себя, я сказал:

– Мужайся и соберись с силами, запастись которыми я и прежде советовал тебе, будущему защитнику Академии, – запастись не для того, разумеется, чтобы дрожь охватила Твои члены еще до звука трубы или чтобы из желания посмотреть на чужое, ты тотчас же пожелал бы сдаться в плен.

Тогда Тригений, заметив, что лица наши уже достаточно просветлели, сказал:

– А почему бы нам не пожелать достойному человеку, чтобы Бог дал ему разумение прежде, чем он сам станет Его об этом молить? Только веруй, Лиценций, потому что когда ты не находишь, что отвечать, а между тем еще желаешь быть победителем, то кажешься мне человеком маловерным.

Мы рассмеялись, а Лиценций тут же парировал:

– Давай, блаженный ты наш, рассказывай нам о том, как ты не только истины не находишь, но даже и искать ее не собираешься!

Когда от этой шутильной перебранки юношей нам всем стало веселей, я сказал:

– Вникни же в вопрос и снова вступи на ту же дорогу с большей, если можешь, твердостью и силой.

– Готов, – отвечал он, – насколько могу. Предположим, что тот, кто смотрит на моего брата, благодаря молве прослышал, что он похож на отца; может ли он быть назван безумным или нелепым?

– А, по крайней мере, глупым, – говорю я, – может быть назван?

– Нисколько. Разве что он стал бы утверждать, что знает это. Если же он примет лишь за вероятное то, что распространила молва, – его нельзя упрекать ни в каком безрассудстве.

– Хорошо, давай остановимся несколько на этом предмете и представим, что все это происходит на наших глазах. Пусть воображаемый нами человек, кто бы он там ни был, стоит здесь. Приходит, предположим, твой брат. Человек спрашивает: “Этот отрок, чей он сын?” Ему отвечают: “Некоего Романиана”. На это он: “Как он похож на отца! Какие верные дошли до меня об этом слухи”. При этом ты, или кто-нибудь другой спросил бы: “А ты, мил человек, знаешь ли Романиана?” “Нет, не знаю, – отвечает он, – однако же сей отрок мне кажется очень похожим на него”... Смог ли бы кто удержаться при этом от смеха?

– Никоим образом.

– Итак, – говорю, – ты видишь сам, что отсюда следует.

– Вижу уже давно, но желаю слышать это заключение от тебя. Поймав в клетку, ты должен и покормить пойманного.

– Отчего же и не сделать заключения? Само дело говорит, что подобным же образом следует смеяться и над твоими академиками, которые говорят о себе, что они в жизни следуют истиноподобному, а между тем, что такое сама истина, – не знают.

8. Тогда Тригений сказал:

– Мне кажется, что осмотрительность академиков далеко не похожа на глупость того человека, которого ты представил. До того, что они называют истиноподобным, они доходят разумным путем, а этот, нелепый, руководствуется одной молвою, значение которой ничтожнее всего.

– Да разве он не был бы еще нелепее, – говорю я, – если бы сказал: “Хотя я и отца его не знаю, и молва не доходила до меня, что он якобы похож на отца, однако же он кажется мне похожим”.

– Действительно, нелепее, но к чему это?

– А к тому, что таковы же и те, которые говорят: “Хотя истины мы и не знаем, однако то, что мы видим, не похоже на то, чего не знаем”.

– Они прибавляют при этом слово “вероятно”, – заметил Тригений.

– Что ты хочешь этим сказать? Не отрицаешь ли, что они говорили об истиноподобном?

– Я сказал это для того, чтобы устранить представленное тобою подобие. Ибо мне кажется, что молва втянута в наш вопрос совсем некстати. Академики не верили и глазам человеческим, хотя бы у молвы их было не только тысячи, как представляют поэты, но и с чудовищными зрачками. Впрочем, какой из меня защитник Академии? Уж не желаешь ли ты и меня втянуть в этот спор? Есть же вот у тебя Алипий. Пусть его приход принесет вам праздник. Полагаю, что ты не напрасно побаиваешься его.

Тут все посмотрели на Алипия. Тот сказал:

– Я действительно желал бы, насколько позволяют мои силы, помочь сколько-нибудь защищаемой вами стороне, если бы не ваша неудача, которая, как плохое предзнаменование, приводит меня в смущение. Впрочем, если надежда не обманывает меня, я легко избегу этой опасности. Меня ободряет при этом то обстоятельство, что теперешний противник Академии

принял на себя обязанности Тригегия, почти уже побежденного, но который теперь в вашем сознании вероятно уже обратился в победителя. Более боюсь я того, что мне нельзя будет избежать упрека и в пренебрежении обязанности оставленной, и в бесстыдном принятии на себя новой. Вы, полагаю, не забыли, что на меня была возложена обязанность судьи.

На это Тригегий отвечал:

– То само по себе, а это само по себе. Мы просим, чтобы ты на некоторое время считал себя частным лицом.

– Изволь, потому что, желая избежать бесстыдства или небрежности, я впал бы в сети гордыни, порока самого худшего, если бы предоставленную мне вами честь удерживал долее, чем вы позволяете.

9. Итак, я желал бы, чтобы ты, строгий обвинитель академиков, объяснил мне принятую на себя обязанность, т. е. защищая кого ты на них нападаешь? Ибо я опасаюсь, что, опровергая академиков, ты желаешь доказать, что ты сам академик.

– Ты, полагаю, хорошо знаешь, – отвечал я, – что обвинителей есть два рода. Если Цицерон по скромности сказал, что он потому только является обвинителем Верреса, что желает быть защитником сицилийцев, то из этого еще не следует, чтобы обвиняющий кого-либо непременно при этом защищает другого.

– Ругать легче, чем утверждать. Есть ли у тебя свое определенное мнение по этому вопросу?

– На это, – говорю я, – ответить легко, а особенно мне, для которого такой вопрос не является неожиданным. Обо всем этом я уже рассуждал с собою, думал долго и много. Поэтому выслушай, Алипий, то, что полагаю, ты уже прекрасно знаешь: я вовсе не желаю, чтобы состязание это было предпринято ради состязания. Достаточно уже того, что мы дозволили себе прелюдию с этими юношами, в которой философия как бы любезно пошутила с нами. Отбросим же в сторону детские побасенки. Дело идет о жизни нашей, о правах, о душе, которая мечтает преодолеть вражду всякой лжи, и познав истину, как бы возвратиться в область своей родины, восторжествовав над похотями и сочетавшись с воздержанием, как с супругом, царствовать, обеспечив себе возврат на небо. Понимаешь, что я хочу сказать? Итак, в сторону все это. Упражняться в войнах оставим мужу – любителю войны. Если я когда-нибудь чего-то менее всего желал, так это того, чтобы между теми, кто долго со мною жили и часто вели рассуждения, возникло что-либо такое, из-за чего открылось бы нечто вроде новой борьбы. Заносить же на письмо то, о чем мы нередко рассуждали между собою, я хотел ради памяти, которая не бывает надежным хранителем домислов; а вместе с тем и для того, чтобы юноши научились внимательно слушать и приобрели опыт в нападении и защите.

Итак, разве ты не знаешь, что я не имею еще ничего верного, на чем мог бы остановиться своею мыслью, а искать это верное мне препятствуют доводы и рассуждения академиков? Не знаю каким образом, но они возбудили в душе “вероятность” того, что человек найти истину не может. Это сделало меня ленивым и совершенно беспечным; и я не осмеливался искать того, чего не суждено было найти мужам проницательнейшим и ученейшим. Поэтому, если я не буду убежден предварительно, что истину можно найти (так как они почти убедили меня, что найти нельзя), я не осмелюсь искать, и не имею ничего, что стал бы защищать. Возьми, если угодно, свой вопрос назад, и лучше порассуждаем между собой, насколько можно остроумно, может ли быть найдена истина? Мне кажется, что в пользу своего мнения я имею уже многое, в чем и стараюсь найти для себя опору против учения академиков, хотя между ними и мною пока нет Другой разницы, кроме следующей: им казалось вероятным, что истину найти нельзя, а мне кажется вероятным, что ее найти можно. Неведение же истины или принадлежит собственно мне, если они притворялись, или в равной степени и им, и мне.

10. Тогда Алипий сказал:

– Теперь я приступлю к делу без опасений, ибо вижу, что ты будешь не столько обвинителем, сколько помощником. Но чтобы от дела более не уклоняться, позаботимся, прошу, прежде о том, чтобы на этом вопросе, который передан мне в наследство отступившими перед тобою, у нас не вышло спора из-за слов. Ведь согласно твоим наставлениям мы часто, пользуясь словами Цицерона, называли такой спор делом самым постыдным. Если не ошибаюсь, когда Лиценций сказал, что ему понравилась мысль академиков о вероятности, ты спросил (а тот без колебаний подтвердил), известно ли ему, что эта вероятность называется у них истиноподобием. Что положения академиков тебе не чужды, я хорошо знаю, потому что от тебя же они известны и мне. Если же, как я сказал, они впечатлены в твоих мыслях, то из-за чего ты гоняешься за словами, – я не понимаю.

– Поверь мне, – отвечал я, – что здесь большое противоречие не в словах, а в самой вещи. Я не считаю этих мужей такими, которые не умели бы называть вещи своими именами. Но мне кажется, что они выбрали эти слова для того, чтобы, с одной стороны, скрыть свою мысль от более тупых, а с другой, – дать понять более проницательным. Почему и как это мне кажется, я объясню, рассмотрев прежде то, что, по общему мнению, высказано ими, как врагами человеческого знания. Итак, я очень доволен, что наш сегодняшний разговор коснулся этого предмета: это установит с достаточной ясностью то, о чем идет между нами речь. По моему мнению, те мужи были серьезные и разумные. Если же есть что, против чего мы будем теперь спорить, это будет против тех, которые считали академиков враждебными открытию истины. Но не считай меня и запуганным. Я охотно вооружусь против них самих, если то, что мы читаем в их книгах, они защищали чистосердечно, а не для сокрытия своей мысли, чтобы своего рода святыня истины не была безрассудно выдаваема умам нецеломудренным и как бы нечестивым.

Я сделал бы это и сегодня, если бы закат солнца не заставлял нас возвращаться домой.

На этом и закончилось состязание в тот день.

Состязание третье

11. На другой день, хотя погода была не менее приятная и тихая, мы долго не могли освободиться от домашних занятий. Большую часть дня мы провели преимущественно за корреспонденцией и вышли на луг, когда до вечера оставалось не более двух часов. Необыкновенная ясность неба манила нас и очень хотелось успеть погреться хотя бы в предзакатных лучах. Когда мы подошли к нашему любимому дереву и остановились, я сказал:

– Так как сегодня уже нет времени приниматься за вопрос важный, то я желал бы, юноши, чтобы вы напомнили мне, как отвечал вчера Алипий на вопрос, приведший вас в замешательство.

На это Лиценций:

– Это так просто, что припомнить не составляет труда. Насколько я понял, он посоветовал тебе не спорить о словах, когда дело очевидно.

– А достаточно ли вы поняли, – говорю я, – что это значит?

– Мне кажется, – отвечал он, – я понимаю, что это значит; но пояснить все же прошу тебя. Я часто от тебя слышал, что ведущим состязание можно продолжать спор из-за слов, когда для спора о предмете не остается места. Однако это нуждается в более тонком объяснении, чем то, которое я могу предложить.

– В таком случае выслушайте, – говорю я, – что это такое. Академики называют вероятным или истиноподобным то, что может принудить нас действовать без Доверия. Говорю “без доверия” в том смысле, что то, что мы делаем, мы за истину не считаем, однако делаем. Например, если бы нас кто-нибудь спросил, взойдет ли после вчерашней светлой и безоблачной ночи ясное солнце, я думаю, что мы ответили бы, что не знаем, но кажется, ято да. “Таким, – говорят

академики, – и нам кажется все то, что мы называем вероятным или истиноподобным. А если хотите называть это как-нибудь иначе, – что ж, спорить не станем. Для нас достаточно, если вы хорошо поняли, что мы говорим, т. е. какие вещи мы этим именем называем. Ибо мудрому прилично быть не создателем слов, а исследователем вещей”. Достаточно ли вы теперь поняли, как выбиты у меня из рук те игрушки, которыми я занимал вас?

Когда они оба ответили, что поняли и попросили меня продолжать, я сказал:

– Как вы полагаете, Цицерон, которому принадлежат эти слова, был настолько плох в знании латинского языка, что давал предметам, о которых мыслил, недостаточно годные названия?

12. Тогда Тригений:

– Мы уже решили не поднимать никаких пустых споров из-за слов, тем более, что предмет ясен. Поэтому позаботься лучше об ответе тому, кто вступился за нас.

Но тут Лиценций:

– Подожди, пожалуйста; мне кажется, я заметил нечто такое, из чего следует, что тебе не стоило бы давать так легко отнимать у себя столь важный аргумент.

Затем, углубившись в размышления и немного помолчав, продолжил:

– По моему мнению, нет ничего несообразнее, чем утверждать, что тот, кто не знает, что такое истина, руководствуется истиноподобным. Меня не смущает и приведенное тобою сравнение. Если бы меня действительно спросили, правда ли, что при этой ясности неба не соберется дождь, я ответил бы, что это истиноподобно потому, что не отрицаю, что знаю нечто истинное. Так я знаю, что это дерево не может сейчас же сделаться серебряным, и утверждаю без всякого самообольщения, что знаю многое такое, истинное, на что нахожу похожим то, что называю истиноподобным. Ты же, Карнеад, или какая другая греческая язва, чтобы пощадить своих (ибо зачем бы я стал колебаться перейти на сторону к тому, которому, будучи пленным, обязан повиновением по праву его победы?), – ты, который утверждаешь, что не знаешь ничего истинного, откуда ты получаешь это истиноподобное? Скажешь, что не мог дать этому другого названия? В таком случае, нам нечего толковать с тем, кто не может говорить.

– Ни я, – сказал Алипий, – не боюсь перебежчиков, ни тем более Карнеад, на которого ты, не знаю, по юношескому или ребяческому легкомыслию, вздумал бросить скорее злословием, чем стрелою. Ибо в подтверждение его мнения, доведенного им до всяческой вероятности, ему вполне было бы достаточно следующего: насколько мы удалены от познания истины, тому великим доказательством можешь послужить себе сам же ты, который одним маленьким возражением так выбит из своего места, что не знаешь уже куда тебе стать. Но отложим это до другого времени вместе с тем твоим знанием, которое, по недавним твоим же словам, впечатлелось в тебе об этом дереве. Хотя ты и перешел уже на другую сторону, однако должен внимательно поразмыслить над тем, что я только что сказал. Как я полагаю, мы не дошли еще до вопроса о том, может ли быть найдена истина, но над самым преддверием моей защиты, в котором я видел тебя падшим и простертым на земле, я нашел нужным надписать лишь одно: что истиноподобного ли, или вероятного, или называемого каким-то другим именем, что академики считают для себя достаточным, искать не следует. Ибо, если ты кажешься самому себе прекрасным отыскателем истины, – это меня пока не касается. После, если не отплатишь за мое покровительство неблагодарностью, может быть, научишь и меня тому же.

13. Так как Лиценций испугался нападения Алипия, я сказал:

– Ты, Алипий, высказал все, за исключением лишь того, как следует рассуждать с такими, которые говорить не умеют.

На это он:

– Издавна всем известно, и в настоящее время достаточно доказывается твоей преподавательской деятельностью, что ты искусен в слове. Поэтому я желал бы, чтобы ты объяснил прежде, с какою целью ты учинил этот допрос. Если он, как мне думается, был излишним, то

тем более излишне было отвечать на него, если же имелась в виду какая-либо цель, но я не смог ее себе уяснить, то прошу тебя не побрезговать принять на себя обязанность наставника.

– Ты помнишь, – отвечал я, – что вчера я обещал говорить об известных словах после. Но теперь солнце убеждает меня упрятать в ящик выложенные для детей игрушки, тем более, что я и выкладывал их скорее для украшения, чем для продажи. Теперь, прежде чем стилем нашим овладеет мрак, обыкновенный покровитель академиков, я желал бы установить между нами с полнейшей ясностью тот вопрос, для рассмотрения которого нам нужно будет встать с утра пораньше. Итак, прошу ответить мне: думаешь ли ты, что академики имели точное представление об истине, но не хотели безрассудно открывать его душам несведущим или нечистым? Или же они так и думали, как излагается в их рассуждениях?

На это он сказал:

– Что они говорили искренне, это я докажу со всей основательностью. Насколько можно заключить по книгам, ты лучше меня знаешь, что они обыкновенно обнаруживали в словах свое мнение. А если ты спрашиваешь меня о моем личном мнении, то я думаю, что истина еще не найдена. Прибавлю даже (хотя ты спрашивал об академиках), что, как я полагаю, она и не может быть найдена, и это не только по засевавшему – как почти всегда ты укорял – во мне мнению, но и на основании авторитета многих, в том числе и знаменитейших философов, пред которыми, не знаю, слабость ли наша, или их прозорливость заставляет нас преклонять головы, хотя нам и следовало бы уже убедиться самим, что найти ничего нельзя.

– Вот этого-то я и желал, – отвечал я. – Ибо опасался, чтобы состязание наше не осталось односторонним, если бы и ты оказался одного со мною мнения; потому что тогда не было бы никого, кто с противной стороны побуждал бы овладевать предметом, чтобы по возможности лучше рассмотреть его. Если бы это случилось, я готов был просить тебя взять сторону академиков так, чтобы казалось, что ты не только спорил, но и действительно был убежден, что истины познать нельзя. Итак, между нами идет речь о том, вероятно ли, на основании приводимых ими доказательств, что истинно воспринять нельзя ничего и что не следует ничему доверять? Если ты докажешь это, я уступлю охотно. Но если я буду в силах доказать, что гораздо вероятнее, что мудрый может дойти до истины, а равно и то, что не всегда следует устранять доверие, то у тебя, полагаю, не останется причины, почему бы тебе не пристать к моему мнению.

Когда он и все присутствовавшие с этим согласились, мы отправились домой.

Книга третья

Состязание первое

1. Когда мы на следующий день сидели вместе в банях (было пасмурно, что отбивало всякую охоту идти на луг), я начал свою речь так:

– Думаю, всем присутствующим ясно, о каком предмете мы будем вести наши рассуждения. Но, прежде чем приступлю к изложению своих воззрений, я попрошу вас выслушать о надежде, о жизни, о назначении нашем, от предмета не уклоняющееся. Я полагаю, что искать истину – не пустая или излишняя, но необходимая и самая важная наша обязанность. В этом мы согласны с Алипием. Ибо прочие философы думали, что их мудрецы находили ее, академики же о своем мудреце говорили, что он должен был с величайшим усилием ее искать, и что он делал это Усердно. Но так как она или скрывалась, будучи чем-либо заслонена, или не выделялась, будучи смешанной с чем-то Другим, то за правило жизни он принимал то, что находил вероятным или истиноподобным. Это вытекало, как следствие вашего прежнего рассуждения. Ибо, коль скоро один Утверждал, что человек становится блаженным, когда истина найдена, а другой – когда она только тщательно ищется, то никто из нас не сомневается, что мы не должны ничего ставить выше этой обязанности. Поэтому скажите пожалуйста, какой я, по вашему мнению, провел вчера день? Вам по крайней мере удалось предаться своим занятиям. Ибо ты, Тригетий, услаждался творениями Вергилия, а Лиценций имел досуг сочинять стихи, к которым пристрастился так, что ради него-то главным образом я и счел нужным вступить в этот разговор, чтобы философия (ибо этому теперь уже самое время) взяла и утвердила за собою в его душе верх не только над поэзией, но и над всякой другой наукой.

2. Но скажите пожалуйста, не пожалели ли вы меня, который, отправившись накануне в постель с мыслью встать только для решения отложенного вопроса и ни для чего другого, встретил столько неотложных дел по хозяйству, что, занятый ими всецело, едва мог уделить для своего роздыха два последние часа дня? Поэтому моим всегдашним мнением было, что человеку мудрому не нужно ничего, но чтобы сделаться мудрым, весьма необходима фортуна. Но Алипий, может быть, придерживается иного мнения?

На это он ответил:

– Мне в точности неизвестно, сколько прав ты усвояешь фортуне. Если для того, чтобы презирать фортуна, ты считаешь нужной саму же фортуна, то с мнением твоим согласен и я. А если ты фортуне отводишь единственно то, что можешь лишь при ее благосклонности удовлетворить необходимым телесным нуждам, то я полагаю иначе. Ибо в таком случае и не мудрому еще, а только жаждущему мудрости, можно и при противодействии фортуны, и вопреки ее воле брать то, что признаем необходимым; или же придется допустить, что она господствует над всей жизнью мудрого, так как и сам мудрый не может не нуждаться в том, что необходимо для тела.

– Итак, ты утверждаешь, – говорю я, – что фортуна необходима имеющему любовь к мудрости, но в отношении к мудрому это отрицаешь.

– Делу не вредит повторение того же, – отвечал он, – но и я, в свою очередь, спрошу тебя: думаешь ли ты, что фортуна чем-либо содействует к своему собственному презрению? Если ты думаешь так, то я скажу, что жаждущий мудрости всячески нуждается в фортуне.

– Думаю, что именно благодаря ей он сделается таким, что будет в состоянии презирать ее; и это не представляет никакой несообразности. Ибо точно так же, когда мы малы, нам необходимы материнские сосцы, которые делают так, что после мы без них можем жить и здравствовать.

– Наши мнения, – отвечал он, – если мы друг друга понимаем, совпадают. Но кому-нибудь, может быть, кажется необходимым точнее обозначить, что как фортуна, так и сосцы заставляют нас презирать не сами сосцы или фортуна, а нечто другое.

– Не велик труд, – говорю я, – употребить и другое сравнение. Как никто не может переплыть Эгейское море без корабля, или какого-либо иного перевозочного средства, или вообще (не исключая и самого Дедала) без каких-либо приспособленных к этому орудий, или без какой-либо сокровеннейшей силы, хотя бы, предполагая достигнуть только этого, он готов был бросить и презреть все то, посредством чего перебрался, так точно и всякому, кто пожелал бы достигнуть гавани мудрости и стать на твердую и спокойную почву, по моему мнению необходимо для достижения желания иметь фортуна, потому что он не будет в состоянии это сделать, если будет, к примеру, слеп и глух, а это находится во власти фортуны. Но когда он достиг этого, то хотя бы и казался нуждающимся в некоторых вещах, относящихся к телесному здоровью, несомненно нуждается в них не для того, чтобы быть мудрым, а для того, чтобы жить между людьми.

– А по моему мнению, если кто слеп и глух, тот даже вправе презирать и изыскание мудрости, и самую жизнь, ради которой мудрость ищется.

– Однако, коль скоро наша жизнь находится во власти фортуны, и так как только живой человек может быть мудрым, то не следует ли признать, что нужно ее покровительство, чтобы нам дойти до мудрости?

– Но если мудрость, – заметил Алипий, – необходима только живущим, а как только жизнь завершена, в мудрости нужды более никакой нет, то в отношении к продолжению жизни и фортуны не боюсь нисколько. Ибо желаю мудрости постольку, поскольку живу, а не постольку хочу жить, поскольку желаю мудрости. Поэтому, если фортуна отнимет у меня жизнь, она уничтожит и причину искать мудрость. Итак, я не имею ничего, из-за чего бы, чтобы быть мудрым, я желал бы покровительства фортуны или страшился бы ее препятствий. Ну, что скажешь на это?

– А разве ты не думаешь, что любящему мудрость фортуна может создавать препятствия к достижению мудрости, хотя бы самой жизни у него и не отнимала?

– Нет, не думаю, – отвечал он.

3. – Я желал бы, – говорю я, – чтобы ты объяснил, в чем, по твоему мнению, различие между мудрым и философом?

– Я полагаю, – отвечал он, – мудрый от имеющего любовь к мудрости разнится только тем, что у мудрого есть некоторое постижение тех вещей, к которым у имеющего любовь к мудрости одно только страстное стремление.

– А что это за вещь такая? – спрашиваю я. – Мне, например, представляется между ними лишь то различие, что один знает мудрость, а другой еще только желает знать.

– Если ты это знание представляешь себе в скромных границах, то ты сказал то же самое, только яснее.

– Какие бы границы я ему не определял, – признано всеми, что знание не может быть знанием вещей ложных.

– На этот раз, – отвечал он, – мне показалось нужным предпослать оговорку, чтобы в случае необдуманного моего согласия твоя речь не вела против меня легких атак по таким основным вопросам.

– Действительно, – говорю я, – ты не оставил мне места, куда я мог бы направить свою атаку. Если не ошибаюсь, мы ведь подошли уже к самому концу, который я давно подготавливаю. Итак, как ты тонко и правильно выразился, между имеющим любовь к мудрости и мудрым существует лишь то различие, что первый любит, а второй уже усвоил учение мудрости (потому-то ты и решился употребить известное выражение – “некоторое усвоение”); но усвоить учение не может тот, кто ничего не изучил, не изучил же ничего тот, кто ничего не знает,

а знать ложного никто не может. Значит, мудрый знает истину – ибо сам ты признал принадлежность его душе учения мудрости.

– Не знаю, до какой степени я был бы бесстыден, – сказал он, – если бы захотел отрицать, что признал в мудром освоение с изысканием вещей божественных и человеческих. Но почему тебе кажется, что невозможно освоение с нахождением лишь вероятного, я не понимаю.

– Но ты соглашаешься со мною, что ложного никто не знает?

– Охотно.

– В таком случае, – говорю, – неужто ты готов утверждать, что мудрый не знает мудрости?

– Зачем ты все сводишь к тому положению, что ему может только казаться, что он знает мудрость?

– Дай, – говорю я, – мне свою руку. Если помнишь, я обещал вчера сделать именно это, и очень рад, что не сам вывел это заключение, а получил его вполне готовым от тебя же. Я говорил, что между мною и академиками существует то различие, что им казалось вероятным, будто истину познать нельзя, а мне представляется, что хотя она и не найдена еще, однако может быть найдена мудрым. Теперь же, отвечая на мой вопрос, – неужели мудрый не знает мудрости, – ты сказал: “ему кажется, что знает”.

– Но что же из этого следует? – заметил он.

– А то, – говорю я, – что если ему кажется, что он знает мудрость, то ему не кажется, что мудрый не может ничего знать. Или, если мудрость – ничто, подтверди это доказательствами.

– Я думал, что мы действительно подошли к концу; но в то самое время, когда ты протянул руку, я вижу, что мы разъединены как нельзя более и разошлись весьма далеко. А именно: вчера казалось, что между нами возник спор лишь о том, может ли мудрый достигнуть познания истины; ты утверждал это, я отрицал. Теперь же я сделал тебе, на мой взгляд, единственную уступку, что мудрому может казаться, что он постиг мудрость в вещах вероятных. Но думаю, никто из нас не сомневается, что под этой мудростью я понимаю исследование вещей божественных и человеческих.

– Из того, что ты пытаешься увернуться, – улыбнулся я, – еще не следует, что тебе это удалось. Мне кажется, что ты споришь уже ради самого спора. И Так как хорошо знаешь, что эти юноши еще с трудом могут различать остроту и тонкость в суждениях, то и пользуешься неопытностью судей, чтобы говорить сколько тебе заблагорассудится, не встречая ни с чьей стороны неодобрения. Ведь незадолго до этого, когда я спрашивал, знает ли мудрый мудрость, ты сказал, что ему кажется, что знает. Но кому кажется, что мудрый знает мудрость, тому не может казаться, чтобы мудрый ничего не знал. Против этого спорить нельзя, разве кто решится утверждать, что мудрость есть ничто. Из этого вышло, что и тебе кажется то же самое, что и мне; мне кажется, что мудрый нечто знает; то же, полагаю, и тебе, который сказал, что мудрому кажется, что мудрый знает мудрость.

– Думаю, что упражнять свои способности желаю не столько я, сколько ты, и весьма этому удивляюсь, так как ты не имеешь нужды в каком-либо упражнении по данному предмету. Может быть я и слеп, но мне кажется, что есть различие между тем, чтобы казаться себе знающим, и тем, чтобы знать, между мудростью, полагаемую в исследовании, и истиной. И то и другое нами говорилось; но каким образом все это объединяется, я не понимаю.

Тогда я, так как нас позвали уже к обеду, сказал:

– Я недоволен, что ты так упрямишься, потому что или оба мы не знаем, что говорим, и в таком случае нам нужно постараться снять с себя такой позор, или познает один из нас, что также оставить без внимания и пренебречь было бы постыдным. Поэтому в послеобеденные часы сойдемся снова. Ибо в то время, как мне казалось, что между нами все покончено, ты пустил в дело даже кулаки.

На это все рассмеялись, и мы отправились домой.

Состязание второе

4. Когда мы возвратились, то нашли Лиценция, жажды которого Геликон никогда не удовлетворял, ломающим голову над сочинением стихов. Почти с половины обеда, хотя нашему обеду конец был там же, где и начало, он тихонько встал и ничего не пил. Я сказал ему:

– От души желаю тебе создать задуманное тобою поэтическое произведение. Это не потому, что меня особенно порадовало бы его окончание, а потому, что вижу тебя так страстно увлекшимся, что освободить от этой любви может тебя только отвращение, а оно обыкновенно является по окончании. А после того, так как у тебя очень приятный голос, я желал бы, чтобы ты лучше прочел нам твои стихи, чем, как в известных греческих трагедиях, пропел, поскольку при этом смысл ускользает не только от слушателей, но, зачастую, и от исполнителей, которые уподобляются птичкам, поющим в клетках. Напомню, однако же, что неплохо было бы тебе возвратиться в нашу школу, если для тебя, конечно, имеют в настоящее время какое-нибудь значение “Гортензий” и философия, которой ты в прежней нашей беседе уже принес в жертву прекраснейшие початки, и которая воспламенит тебя сильнее, чем эта поэзия, к познанию вещей великих и плодотворных. Но желая всячески привлечь вас к этим наукам, которые служат к образованию душ, я боюсь, чтобы вы не попали в лабиринт, и почти жалею уже, что сдержал ту твою страсть.

Лиценций покраснел и вышел попить, отчасти потому, что чувствовал сильную жажду, но еще и потому, что это служило поводом избежать меня, который мог выговорить его куда более сурово. Когда он возвратился, и все готовы были слушать, я начал так:

– Правда ли Алипий, что мы не согласны между собою по предмету самому ясному?

– Нет ничего удивительного, – отвечал он, – если Для меня темно то, что для тебя, как ты уверяешь, вполне очевидно; ибо очень многое ясное может другим казаться ясным, равно как и что-либо темное может казаться для иных темнейшим. Так, если и это для тебя действительно ясно, то, поверь мне, есть кто-нибудь другой, для которого и это твое ясное гораздо яснее, и, в то же время, найдется и такой, для которого мое темное гораздо темнее. Но чтобы ты долее не считал меня вздорным, я прошу тебя изложить это ясное пояснее.

– Выслушай, пожалуйста, – говорю я, – внимательно и отложи на время заботу отвечать. Если я хорошо знаю себя и тебя, то, постаравшись, ты быстро меня поймешь. Не сказал ли ты, – или меня, быть может, обманул слух, – что мудрому кажется, что он знает истину?

Он подтвердил.

– Оставим, – говорю, – пока этого мудрого. Сам-то ты мудр, или нет?

– Вовсе не мудр, – отвечал он.

– Однако же, прошу тебя ответить мне, что думаешь ты лично о мудром академике: кажется ли тебе, что он знает мудрость?

– Не одно ли и то же, – спросил Алипий, – казаться себе знающим и знать; или, все-таки, не одно? Ибо я опасаюсь, чтобы эта неопределенность не послужила кому-нибудь из нас средством против другого.

– Это, – говорю я, – называется обыкновенно тусклою тяжбой, когда, вчинивши иск, стараются не о том, что может служить к его решению, а о возражениях противной стороне. Это и славный наш Вергилий (чтобы сказать нечто приятное Лиценцию) в буколическом стихе совершенно уместно счел деревенским и вполне пастушеским; когда один спрашивает другого, где расстояние до неба не более трех локтей, – тот отвечает: “А скажи-ка мне в каких землях растут цветы, что зовутся царями?” Но ты, Алипий, не сочти это уместным для нас, хотя мы и живем в деревне; пусть по крайней мере эти бани несколько напоминают нам о приличии гимназий. Ответь, если угодно, на то, о чем тебя спрашиваю: кажется ли тебе, что мудрый академик знает мудрость?

– Чтобы, отвечая словами на слова, – ответил он, – мы не зашли слишком далеко, – скажу так: мне кажется, что ему кажется, что он знает.

– Следовательно тебе, – говорю я, – кажется, что он не знает. Ибо я спрашиваю не о том, что кажется тебе касательно кажущегося мудрому, а о том, кажется ли тебе, что мудрый знает мудрость. Ты не можешь, по моему мнению, ответить на это или утвердительно, или отрицательно.

– О, если бы или мне было так легко, как тебе, или тебе так трудно, как мне, тогда ты не был бы так привязчив и не относился бы к этому с какой-либо надеждой. Когда ты спрашивал меня, что кажется мне относительно мудрого академика, я отвечал: мне кажется, что ему кажется, что он знает мудрость, – отвечал так для того, чтобы необдуманно не утверждать, что я знаю, или не сказать не менее же необдуманно, что он знает.

– Прежде всего, сделай мне, пожалуйста, великое одолжение, удостой ответа на то, о чем спрашиваю я, а не на то, о чем спрашиваешь ты сам себя. А затем, оставь пока на некоторое время мою надежду, которая, я знаю точно, не менее заботит тебя, чем твоя собственная. Ведь если я поймаюсь на этом вопросе, я тотчас же перейду на твою сторону, и мы покончим спор. Наконец, устранив это какое-то беспокойство, замечаемое мною в тебе, вникай внимательнее, чтобы тебе легче было понять, какого ответа я жду от тебя. Ты сказал, что ты не утверждаешь и не отрицаешь (что требовал сделать предлагаемый мною вопрос) для того, чтобы не сказать необдуманно, что знаешь, когда на деле не знаешь; как-будто я спрашивал о том, что ты знаешь, а не о том, что тебе кажется. Итак, спрашиваю тебя на этот раз яснее (если только можно говорить яснее): кажется ли тебе, что мудрый знает мудрость, или не кажется?

– Если может, – ответил он, – найтись истинный мудрец, то мне может казаться, что он знает мудрость.

– Итак, разум подсказывает тебе, что должен быть такой мудрый, которому небезызвестна мудрость; и это верно. Ибо иначе оно и не может тебе казаться. Но теперь я спрошу: может ли найтись такой мудрый? Если может, то он может и знать мудрость, и тогда всякий спор между нами решен. Если же ты скажешь, что не может, вопрос будет уже не в том, знает ли что мудрый, а о том, может ли кто-либо быть мудрым. Установив это, нужно уже будет оставить академиков, и, насколько хватит сил, рассмотреть этот вопрос прилежно и внимательно вместе с тобой. Ибо для них было делом решенным, или лучше, им казалось, что человек может быть мудрым, но, в то же время, что знание не может быть уделом человека. Потому они и утверждали, что мудрый ничего не знает. Тебе кажется, что он знает мудрость; что, во всяком случае, совсем не то же самое, что ничего не знать. Вместе с тем, между нами, как и между всеми древними и между самими академиками, решено, что ложного никто не может знать. Поэтому тебе остается или доказать, что мудрость есть ничто, или признать, что академики представляют такого мудрого, какого разум не допускает.

5. Итак, оставив их, согласен ли ты исследовать со мною, может ли человек достигнуть такой мудрости, о какой говорит разум. Ибо иную мы не должны и не можем называть истинной мудростью.

– Но если, – заметил он, – я и сделаю уступку, которой ты с таким великим старанием добиваешься, что мудрый знает мудрость, и что мы умственно уловили это нечто, что мудрый может воспринять, все же мне представляется, что общая посылка силлогизма академиков в целом ее виде не опровергнута. На мой взгляд, им оставлено еще место для защиты, не устранено известное колебание в доверии, так что они могут находить защиту своему мнению в том, в чем ты считаешь их побежденными. Они точно также будут говорить о невозможности познания и о том, что ничему не должно доверять; так что и положение о невозможности воспринять что-либо, в котором они убеждали себя с вероятностью опытом целой почти жизни и которое теперь исторгнуто у них оным умозаключением (по тупости ли моего ума или по своему действительному весу, но сила этого аргумента мне кажется непобедимой), не

может заставить их отступить от своего мнения, так как они имеют еще основание утверждать, что и при этом не следует соглашаться ни с чем. Ибо может случиться, что когда-нибудь они или кто-нибудь другой смогут найти и против этого нечто, что будет сказано остроумно и с вероятностью; и что образ и как бы некое отражение этого следует усматривать в известном Протее, о котором рассказывается, что он обыкновенно ловился, когда его вовсе не ловили, а искавшие его никогда не могли его найти, разве только по какому-либо божественному указанию. Если такое указание будет и удостоит открыть нам эту истину, составляющую предмет стольких стараний, то и я, даже и против их воли, чего однако же не предполагаю, признаю их побежденными.

– Дело идет так хорошо, – говорю я, – что лучшего я и не желал. Ибо, прошу обратить внимание, сколько и в каком роде высказано полезного для меня. Во-первых, академики представляются уже до такой степени побежденными, что им не остается другого средства к защите, кроме того, которое невозможно. Ибо кто в состоянии каким-либо образом понять или поверить, что побежденный, на основании того самого, чем побежден, станет выставять себя победителем? Затем, если у нас и остается еще некоторый предмет спора с ними, то он не в том, что они говорят, будто нельзя ничего знать, а в том, что они утверждают, будто ничему не следует доверять. Итак, мы пришли теперь к соглашению. Ибо как мне, так и им кажется, что мудрый знает мудрость. Они советуют только удерживаться от доверия, говорят, что им только кажется; но знать, – как говорю я о себе, что знаю, – они никоим образом не знают. Говорю и я, что мне то или другое кажется, потому что я глуп, как и они, если не знают мудрости. Но все же я думаю, что мы должны утверждать нечто, т. е. истину. Спрашиваю я их, отрицают ли они это, т. е. полагают ли они, что истине не следует доверять. Они этого не говорят никогда, а стоят на своем, что ее нельзя найти. Итак, они имеют и в данном случае во мне отчасти союзника, потому что я, как и они, не отвергаю, а, следовательно, по необходимости полагаю, что с истиной следует соглашаться. Но кто, говорят, Докажет ее? На этот раз я не стану с ними спорить. Для меня достаточно уже, что невероятно, чтобы мудрый ничего не знал, дабы не принудить их утверждать бессмыслицу вроде той, что мудрость есть ничто, или что мудрый не знает мудрости.

6. Ты спросил, Алипий, кто может показать истину; и я постараюсь всячески быть в этом согласным с тобою... Только некоторая божественная сила, говорил ты, может показать человеку, что истинно; это и кортко, и, вместе с тем, благочестиво. В этом нашем споре я не услышал ничего более приятного, более серьезного, более вероятного, и если этому, как верю я, присуща сила божественная, – более истинного. Да и в самом твоём упоминании Протея, какая возвышенность ума, какое стремление к высочайшему роду философии! Протей этот (заметьте юноши, что философия вовсе не считает поэтов презренными) выставляется за образ истины. В стихах, говорю, Протей показывает и представляет собой олицетворение истины, которой никто не может овладеть, если, обольстившись ложными образами, ослабит или выпустит из рук сети познания. Ложные же образы суть те, которые, по условиям телесной жизни, посредством тех чувств, которыми мы пользуемся, вводят нас в обольщение и обман в ту пору, когда истина достигнута и как бы находится уже в руках. Это третье из того, что высказано полезного для меня и чему я не нахожу цены. Ибо мой искреннейший друг согласен со мной не только в присутствии вероятностного в человеческой жизни, но и в самой религии; а это яснейший признак истинного друга. Ибо, по самому точному и святому определению, дружба есть благосклонное и любовное согласие в вещах человеческих и божественных.

7. Впрочем, чтобы аргументы академиков не казались распространяющими некоторого тумана, или чтобы иным не показалось, что мы гордо восстаем против авторитета учений мужей, между которыми особенно не может не быть близким нашему сердцу Туллий Цицерон, я прежде, если угодно, вступлю в короткое рассуждение против тех, кому вышеприведенные выводы кажутся противными истине. Затем, согласно своему мнению, я покажу, какая была

у академиков причина скрывать свое воззрение. Итак, Алипий, хотя я и вижу тебя всецело стоящим на моей стороне, прими на время их сторону и возражай мне.

– Так как ты сегодня, – отвечал он, – выступил, как говорится, при добрых предзнаменованиях, то я не стану мешать твоей полнейшей победе и попытаюсь, по твоему требованию, принять эту сторону с большим уже спокойствием; если, впрочем, то, что полагаешь делать посредством вопросов, ты не обратишь в монолог, чтобы этими маленькими стрелами меня, твоего уже пленника, не терзать, как действительно упорного противника, что совершенно несогласно и с твоим человеколюбием.

Заметив, что и другие ожидали этого, я как бы делая новое вступление, сказал:

– Уступаю вашему желанию. И хотя после известного труда по части риторики я предполагал найти некоторое отдохновение в этом легком упражнении, разъясняя дело более вопросами, чем речью, однако, принимая во внимание, что, с одной стороны, нас очень немного, и потому мне нет необходимости говорить особенно громко, что было бы вредно моему здоровью, а с другой, что в этом стиле, ради того же здоровья, я решил иметь своего рода возницу и сдерживателя для своей речи, чтобы не приходиться в более возбужденное душевное состояние, чем сколько того требует попечение о теле, я изложу, согласно вашему желанию, в непрерывной речи то, что я думаю. Но прежде всего рассмотрим одно обстоятельство, которым любители академиков имеют обыкновение особенно хвалиться. В книгах Цицерона, написанных в защиту этого учения, есть одно место, изложенное на мой взгляд с удивительным остроумием, а на взгляд других – с особою силой. Действительно, трудно предположить, чтобы кого-либо не заинтересовало сказанное там, а именно: что мудрому академику все, кажущиеся самим себе мудрыми последователи других сект, отводят второе место, усвоив первое, естественно, каждый самому себе. Из чего можно заключить, что тот справедливо по собственному суду своему будет первым, кто по суду всех остальных есть второй.

Представьте себе, что является мудрый стоик (ибо против них, по преимуществу, направлено остроумие академиков). И вот, если Зенона или Хризиппа спросить, кто мудрый, он ответит, что мудрый тот, кого опишет он. Напротив, Эпикур или другой кто-либо из противоположной секты станет отрицать это и будет настаивать, что мудрый – это искуснейший ловец наслаждений. Доходит дело до спора. Зенон кричит, и весь так называемый портик поднимает тревогу, что человек рожден не для чего другого, как только для честности, что она влечет к себе души своим собственным блеском, без всякого обещания каких-либо внешних выгод и без приманки наград; а так называемое удовольствие Эпикура обще-де одним скотам, и втягивать в общение с ним человека преступно. А этот, напротив, созвав из садов на помощь себе как бы вольную толпу людей пьяных, под влиянием вина ищущих, кого бы растерзать неопытными ногтями и грубым языком, проповедуя народу преимущественное значение наслаждения, приятности, покоя, с силою настаивает, что без них никто не может быть блаженным. На спор их случайно приходит академик, выслушивает обоих, из коих каждый тянет его на свою сторону. Согласись он с той или другой стороною, сторона, оставленная им, провозгласит его сумасшедшим, невежественным и безрассудным. Но он внимательно выслушает и ту, и другую, и когда спросят его, как это ему кажется, ответит, что он сомневается. Спроси после этого стоика: кто лучше, Эпикур ли, который провозглашает его помешанным, или академик, который заявляет, что о таком важном предмете ему нужно еще подумать? Нет сомнения, что академик будет поставлен выше. Обратись затем к другому и спроси, кого он больше любит: Зенона ли, который называет его животным, или Архезилая, от которого слышит: “Ты может быть и правду говоришь, но я исследую это внимательнее”. Не очевидно ли, что Эпикур признает весь так называемый портик безумным, а академиков, сравнительно с теми, людьми скромными и осмотрительными? В таком роде представляет Цицерон читателям забавнейшее зрелище относительно всех сект, как бы показывая, что нет в них никого, кто, усвоив себе, что вполне естественно, первое место, не отводил бы второго тому, кого усматривает не отвергающим, а только

сомневающимся. В этом смысле я не перечу Цицерону и не отнимаю у них никакой славы. Но некоторым справедливо кажется, что Цицерон здесь не шутил, а хотел собрать и представить в одном очерке некоторые проявления бессмыслицы и пустоты, не чуждые легкомыслию самих греков.

8. Действительно, если бы я пожелал бороться с этим хвастовством, мне ничто не помешало бы показать с несомненной ясностью, что гораздо меньшее зло быть неучем, чем неспособным чему-нибудь научиться. Ведь если бы этот хвастливый академик явился бы к кому-нибудь в качестве ученика, тот не был бы в состоянии убедить его в том, в чем считает себя знающим: он был бы попросту осмеян. И каждый из возможных учителей неизбежно придет к заключению, что никого из академиков он не может ничему научить, а те, в свою очередь, ничему не могут научиться. Поэтому, в конце концов, их выгнали бы из всех школ не розгами, что было бы скорее некрасиво, чем больно, а дубинками и палками известных греческих ученых. Ибо невелик труд против общей язвы обратиться к помощи своего рода геркулесовских орудий циников. А если бы вздумалось спорить с ними из-за этой ничтожнейшей славы, что мне, хотя и философствующему, но еще не мудрому, весьма извинительно, что могут они найти такого, что в состоянии опровергнуть? Представим себе, что я и академик попали на описанные споры философов. Все, смотря по обстоятельствам, излагают кратко свои мнения. Спрашивают у Карнеада, как думает он. Тот отвечает, что сомневается. В силу этого каждый из них поставил его выше остальных. А следовательно и все – выше всех. Слава действительно великая и высокая. Кто не захотел бы подражать ему? Поэтому, когда и меня спросят, я отвечу то же. Похвала будет равная. Итак, мудрый утешится такою же славой, что и глупец?

А что, если глупый даже превзойдет его? Не будет ли стыдно? Я остановлю, например, этого академика, когда он уже будет выходить из суда. Ведь глупость более жадна к славе этого рода. Итак, задержав его, я открою судьям то, чего они не знают. Я скажу им: почтенные мужи, я имею с ним то общее, что оба сомневаемся, кто из вас держится истины. Но мы имеем и свои особые мнения, насчет которых я прошу вашего суда. Хотя мне, когда я слышу ваши главные положения, и неизвестно, на чьей стороне истина, но это потому, что я не знаю, кто из вас мудр. А этот не допускает, чтобы и мудрый что-либо знал, не исключая и самой мудрости, от которой носит название мудрого. Кому не ясно, кому достанется пальма первенства? Если противник мой подтвердит это, я превзойду его славой. А если со стыда признает, что мудрый знает мудрость, я одержу над ним победу образом мыслей.

9. Но удалимся из этого трибунала в какое-нибудь место, где нас не беспокоила бы никакая толпа, – о, если бы в ту школу Платона, которая, говорят, от того и получила свое имя, что была для народа недоступна! Здесь, насколько это будет в наших силах, поговорим между собою уже не о славе, что легкомысленно и прилично разве что детям, а о самой жизни и о некоторой надежде на душевное блаженство. Академики отрицают возможность знать что-либо. Откуда у вас такое заключение, люди, преданные науке и ученыишие? “Нас поколебало, – говорят они, – определение Зенона”. Отчего так, спрашиваю? Ведь если оно истинно, то знал ведь нечто истинное тот, кто, по крайней мере, знал это определение. А если оно ложно, то не должно было никак поколебать людей постояннейших.

Но посмотрим, что говорит Зенон. Ему кажется, что может быть познано и воспринято только нечто такое, что не имело бы признаков, общих с ложным. Это ли побудило тебя, человек школы Платоновой, отнимать всеми силами у желающих учиться надежду научиться, чтобы при помощи некоторой, достойной плача умственной оцепенелости они оставили всякое занятие философией? “Но как-де оно не побудило бы его, если он ничего такого найти не может, а, между тем, может воспринять только такое?” Но если это так, то следовало лучше сказать, что мудрость недоступна человеку, чем говорить, что мудрый не знает, для чего живет, не знает, каким образом живет, не знает, живет ли, и наконец, превратнее, бестолковее и глупее чего нельзя придумать, что он одновременно и мудр, и не знает мудрости. Не тверже ли то

положение, что человек не может быть мудрым, чем то, что мудрый не знает мудрости? Не о чем будет и спорить, если дело поставлено так, что рассуждений не требует. “Но если так будет сказано, люди-де могут совершенно бросить философию; а теперь они должны быть вводимы в заблуждение приятнейшим и святейшим именем мудрости”. Но для чего? Чтобы, потратив годы жизни и ничему не научившись, осыпать потом страшными проклятиями тебя, последовав которому они лишились каких бы там ни было удовольствий телесных, а приобрели терзания душевные.

Но на самом деле, кто более отвратит людей от философов? Тот ли, кто скажет: послушай, друг мой, философией называется не самая мудрость, а любовь к мудрости; если ты к ней обратишься, то хотя и не будешь мудрым, пока живешь (ибо мудрость у Бога, и человеку доступна быть не может), однако, если достаточно утвердишь себя, то дух твой после этой жизни, т. е. когда перестанешь быть человеком, несомненно будет владеть ею, или тот, кто сказал бы: “Обратитесь, смертные, к философии; в ней великая польза. Ибо что дороже для человека, нежели мудрость? Обратитесь к ней, чтобы быть мудрыми, но мудрости, впрочем, вы не узнаете...”. “Я так не сказал бы”, – говорит он. Но это значит – обманывать; потому что у тебя содержится именно это, а не что другое. Поэтому, если ты скажешь так, они удалятся от тебя, как от безумного, а если другим образом приведешь их к тому же, сделаешь их безумными. Но, допустим, что в силу того и другого мнения люди одинаково не захотят философствовать. Пусть определение Зенона вынуждает сказать нечто вредное для философии. Что следует, любезный мой, сказать человеку, – то ли, что заставит его горевать о себе, или то, что заставит посмеяться над тобою?

Впрочем, насколько при своей глупости можем, разберем определение Зенона. Он говорит, что можно уловить знанием тот образ, который является так, как образ ложный явиться не может. Очевидно, что ничто другое не может подлежать восприятию. “И я так же смотрю на это дело, – говорит Архезилай, – и на этом основании учу, что ничего нельзя воспринять. Потому что ничего подобного открыть нельзя”. Может быть, это нельзя тебе и другим глупцам. Но почему бы это нельзя было сделать мудрому? Впрочем, я полагаю, что ты не мог бы ответить ничего и самому глупому, если он скажет тебе, чтобы ты со своим замечательным остроумием опроверг это самое определение Зенона; если ты не будешь в состоянии этого сделать, то само же оно для тебя и есть предмет восприятия, а если опровергнешь, то не будет для тебя основания не допускать восприятия. Я не вижу возможности опровергнуть его, и потому считаю вполне истинным. Следовательно, зная его, хотя я и глуп, все же нечто знаю. Но пусть оно поддастся перед изворотливостью твоего ума. Я употреблю в дело самую надежную дилемму. Определение это или истинно, или ложно. Если оно истинно, то я справедливо держусь его; а если ложно, то может подлежать восприятию нечто, хотя бы оно и имело признаки, общие с ложным. “Откуда же, – спросит он, – может?” В таком случае Зенон определил совершенно истинно, и всякий, кто с ним согласился по крайней мере в этом, не впал в заблуждение. Разве это не достаточный признак достоинства и точности определения, если оно, вопреки имевшим возражения против восприятия, обозначая, каково то, что может подлежать восприятию, показывает таким себя же само? Поэтому оно служит и определением предметов познаваемых, и образчиком таких предметов. “Истинно ли, – ответит он, – оно само, я не знаю. Но так как оно вероятно, то, следуя ему, я показываю, что нет ничего такого, что может подлежать познанию”. Показываешь скорее вопреки ему и видишь сам, что из этого следует. Ибо, если мы и находимся в сомнении относительно его, то и в таком случае знание не оставляет нас. Мы знаем по крайней мере, что оно или истинно, или ложно; следовательно, не совсем ничего не знаем. Хотя меня лично никакой вывод не заставит быть неблагодарным, и я считаю это определение совершенно истинным. Ибо в противном случае они или могут воспринять и ложное, а этого-то и боятся академики, или не могут воспринять и того, что только похоже на ложное; следовательно, определение истинно. Но оставим это и проследуем далее.

10. Хотя этого, если не ошибаюсь, уже достаточно для победы, но будет, пожалуй, мало для пресыщения победой. Два положения высказываются академиками, и против них-то мы и решили выступить. Они суть: ничего нельзя воспринять и ничему не следует доверять. О доверии после; теперь же скажем о восприятии. Не утверждаете ли вы, что вообще ничего нельзя познать? На этом вопросе проснулся Карнеад (ибо никто из них не уснул менее глубоким сном, чем он) и оглянул очевидность вещей. И вот я представляю его, как это бывает, говорящим как бы про себя: “Неужели ты, Карнеад, (спрашивает он сам себя) станешь утверждать, что не знаешь, человек ты или муравей? Ведь над тобой, пожалуй, восторжествует Хризипп! Скажем, что мы не знаем того, над изысканием чего трудятся философы, а прочее-де нас не касается. Это для того, чтобы я, если запнусь при свете обыденном и представляющем собою общее достоинство, мог всех отсылать к тому невежественному мраку, в котором видят что-нибудь разве только очи божественные, а если бы кто и разглядел, что я споткнулся и упал, тот не в состоянии был бы представить меня слепым и относящимся к философии презрительно!”

О, коварная греческая предусмотрительность! Выступаешь ты великолепно, подпоясанная, снаряженная, не упускаешь из виду, что определение это есть открытие философа, что оно поставлено и утверждено в самом преддверии философии. Если попытаешься ты подрубить его, – обоюдоострая секира, отскочив, ударит по голени, потому что, если будет оно поколеблено, то это будет означать, что не только может подлежать восприятию нечто, но может подлежать и то, что весьма похоже на ложь; если же не осмелишься его ниспровергнуть ввиду того, что оно служит для тебя норой, из которой ты бешено выскакиваешь и набрасываешься на неосторожных прохожих, то какой-нибудь Геркулес задушит тебя, как получеловека Какуса в твоей пещере и ее же массой завалит тебя в назидание, что есть в философии нечто, что, как подобное ложному, не могло быть тебе неизвестным. Впрочем, поспешу перейти к остальному. Побуждающий меня к этому наносит лично тебе, Карнеад, великое оскорбление, поскольку думает, что я одержу над тобою, мертвым, победу, с какой бы стороны и на что бы не напал. Если же этого не думает, то он безжалостен, принуждая меня выступить из укреплений и сражаться с тобою в открытом поле, потому что, начав было выходить из них, я попятился назад, уstraшенный одним твоим именем, и сколько с возвышенного места бросил в тебя стрел, не знаю. Те, под наблюдением которых мы сражались, видели, достигли ли они тебя и что сделали. Но чего боюсь я, нелепый? Если память мне не изменяет, ты умер, и могилу твою уже не по праву отстаивает Алиппий; против тени же твоей Бог легко мне поможет.

Ты говоришь, что в области философии ничто не может подлежать восприятию. А чтобы дать своей речи более широкое развитие, ты хватаешься за споры и разногласия философов и думаешь, что эти разногласия дают тебе оружие против них. Действительно, как разберем мы спор между Демокритом и бывшими до него физиками о едином и бесчисленных мирах, когда между ним самим и его наследником Эпикуром согласие удержаться не могло? Ибо этот любитель роскоши, дозволивший атомам, как бы молодым служанкам (т. е. маленьким тельцам, которые он, наслаждаясь, ловил во мраке), не держаться своего пути, а уклоняться то туда, то сюда весьма произвольно, расточил через тяжбы все родовое имущество. Но это меня нисколько не касается. Ибо, если знание чего-либо в этом роде относится к мудрости, это от мудрого укрыться не может. А если мудрость есть нечто иное, то мудрый ее знает, а то и презирает. Впрочем, я, хотя и далек еще от соседства с мудрым, кое-что понимаю и в этих физических предметах. Так я знаю, что мир или один, или не один; а если не один, то число миров или определенное, или бесконечное. Пусть Карнеад покажет, что это положение похоже на ложное. Равным образом я знаю, что этот наш мир получил такое устройство или в силу природы тел, или по воле некоего провидения: и что он или был и будет всегда, или, начав свое существование, быть не перестанет, или, не имея во времени начала, будет иметь в нем конец, или как начал свое существование, так и не навсегда пребудет; и такого рода физических сведений я имею бесчисленное множество. Этого рода истины представляются совершенно раздельно, и

никто не может смешать их по какому-либо сходству с ложью. “Но ты прими из сказанного что-нибудь одно”, – говорит академик. Не хочу. Потому что это значит: брось то, что знаешь, а говори то, чего не знаешь. “Но суждение колеблется”. Действительно, оно скорее колеблется, чем падает, потому что поставлено ясно и может быть названо или ложным, или истинным. Я утверждаю, что знаю его. А ты, который не отрицаешь, что предметы этого рода относятся к философии и в то же время утверждаешь, что ничего из этого нельзя знать, докажи, что я этого не знаю. Скажи, что эти разделения ложны, из-за чего вовсе не могут быть различаемы.

11. “Откуда, – скажет он, – ты знаешь, что этот мир существует, если чувства обманываются?” Ваши доказательства никогда не могли до такой степени подорвать значение чувств, чтобы вы убедили нас, что мы ничего не видим. Да вы решительно никогда и не осмеливались на попытки такого рода, а с особым усилием старались убедить, что это может быть иначе, чем кажется. Итак, это все, каково оно ни есть, что нас содержит, что нас питает, все это, говорю, что является моим глазам, что мною ощущается – имеет землю и небо, или как бы землю и как бы небо, я называю миром. Если ты говоришь: “Мне ничего не видится, я не стану заблуждаться. Ибо в заблуждении находится тот, кто составляет неосновательное суждение о том, что ему кажется”. Но вы говорите, что чувствующие могут видеть ложное, а не утверждаете, что они ничего не видят. Вся область состязаний, в которой вам угодно господствовать, совершенно уничтожились бы, если бы мы не только ничего не знали, но и ничего нам не казалось. Если же ты отрицаешь, что кажущееся мне есть мир, то делаешь предметом спора имя, так как я называю это миром.

“Неужели, – говоришь ты, – мир именно таков, каким ты его видишь, когда спишь?” Сказано уже, что я называю миром все, что мне кажется миром. Но если тебе угодно называть миром только тот, который видят бодрствующие и только здоровые, то докажи, если можешь, что спящие или помешанные сходят с ума и спят не в мире. В этом смысле я и говорю, что вся эта масса тел, в которой мы существуем, сонные или сумасшедшие, бодрствующие или здоровые, или одна, или не одна. Разъясни, каким образом это положение может быть ложным. Если я сплю, может случиться, что я ничего не скажу; или если из уст спящего, как бывает обыкновенно, и вылетят слова, может случиться, что я скажу не здесь, не так сидя, не вслух; но чтобы это было ложно – быть того не может. Поэтому я и не говорю, что воспринял бы это, потому что бодрствую. Ты можешь сказать, что это могло казаться мне и сонному, и потому это может быть весьма похоже на ложное. Но если миров один и еще шесть, то, в каком бы я состоянии не находился, миров, очевидно, семь, и я не бесстыдно утверждаю, что знаю это. Докажи мне, что это заключение или вышеприведенные логические положения в силу сна, или безумия, или обманчивости чувств могут быть ложны; тогда, если по пробуждении вспомню их, я признаю себя побежденным. Я считаю уже достаточно разъясненным то, что может казаться ложным в силу сна или безумия; это то, что относится к чувствам телесным. Ибо, что трижды три есть девять, и представляет собой непрменный квадрат отвлеченных чисел, будет верно и в ту пору, когда род человеческий погрузится в глубокий сон. Хотя и о самих чувствах я нахожу возможным сказать многое, что не может быть опровергнуто академиками. Ибо я не думаю, чтобы чувства были виноваты в том, что безумные получают ложные представления или что мы видим ложное во сне. Если они бодрствующими и здоровыми передают истинное, то, чтобы не измыслила себе душа спящего и безумствующего, их это не касается.

Остается исследовать, истину ли они передают, когда действительно что-то передают. Представь, что какой-нибудь эпикурец скажет: “Я не имею ничего, в чем стал бы обвинять чувства. Ибо несправедливо требовать от них большее, чем то, что они могут нам дать; насколько же могут видеть глаза, они видят истину”. Так неужели истинно то, что они видят относительно весла в воде? “Совершенно истинно. Ибо, если есть причина тому, почему это так должно казаться, то я скорее стал бы упрекать свои глаза за ложное извещение в том случае, если бы

погруженное в воду весло представлялось прямым, так как тогда они не видели бы то, что при существовании таких причин следовало видеть”.

Стоит ли продолжать? То же может быть сказано о движении высоких башен, то же о крылышках птиц, то же обо всем прочем. “Но я все же обманываюсь, если доверяю”, – скажет кто-нибудь. Не доверяй более, чем нужно, чтобы убедить себя, что это так тебе кажется, и никакого обольщения не будет. Я не вижу, как академик опровергнет того, кто говорит: “Я знаю, что это мне кажется белым; знаю, что это услаждает мой слух; знаю, что это для меня приятно пахнет; знаю, что это сладко на мой вкус; знаю, что это для меня холодно”. Скажи-ка лучше, сами ли по себе горьки листья дикой маслины, к которым так упрямо тянется козел? О, наглость человеческая! Не скромнее ли тебя и сам козел? Каковы они для скота, я не знаю; но для меня они горьки. Чего же ты добиваешься большего? “Но, может быть, есть и из людей кто-нибудь, кому они не горьки?” Не напрашиваешься ли ты на неприятность? Разве я сказал, что они горьки для всех; я сказал, что они горьки для меня, и это, конечно же, не безусловно. Ибо при изменившихся условиях то, что теперь сладко, может почувствоваться во рту горьким. Я утверждаю, что человек, когда что-либо вкушает, может добросовестно поклясться, что он знает, что это приятно или неприятно для его неба, и что никакая греческая каверза не отвлечет его от этого знания. Кто будет так бесстыден, что скажет мне, когда я для своего удовольствия дозволю себе какое-либо лакомство: “Может быть ты совсем и не кушаешь, а это только сон!”. Остановлюсь ли я? Пусть это хотя бы доставит мне удовольствие во сне. Поэтому того, о чем я сказал, что знаю, не спутает никакое подобие ложного. И Эпикур, и киренаики, может быть, говорят и многое другое в пользу чувств, против чего, как мне известно, академики ничего не сказали. Но что из того? Если хотят и если могут – пусть опровергают даже и с моею помощью. Что бы ни говорили они против чувств, это не имеет силы против всех философов.

Есть между ними такие, которые признают, что все, что душа воспринимает посредством телесных чувств, может породить знание. Они полагают, что это знание содержится в понятии и живет в уме, удаленное от чувств. Может быть в их-то числе и есть тот мудрый, которого мы ищем. Но об этом после. Теперь перейдем к дальнейшему, что, ввиду уже сказанного, потребует от меня, если не ошибаюсь, некоторого разъяснения.

12. Чему помогает или чему мешает телесное чувство, когда исследуется вопрос о добрых нравах? Если и тем, кто полагал высшее благо человека в наслаждении, ни голубиная шейка, ни безотчетный голос, ни великая тяжесть для человека того, что легко верблюдам, не мешают утверждать, что они знают, что действительно наслаждаются тем, чем наслаждаются, или получают боль от того, что им причиняет боль (чего я и не собираюсь отрицать), то разве поколеблют они того, кто верх блага полагает в разуме? Чего держишься ты из этих двух? Если спросишь, как мне это кажется, то я полагаю, что высшее благо человека в разуме. Но в данном случае вопрос идет о знании. Поэтому спроси мудрого, который не может не знать мудрости, хотя, впрочем, и мне, тупому и глупому, дозволительно знать, что верх человеческого блага, с которым соединяется блаженная жизнь, или не существует вовсе, или находится в душе, или в теле, или в той и другом вместе. Вот в незнании этого, если можешь, обличи меня, так как ваши пресловутые доводы никоим образом этого не делают. Но если ты этого не можешь, потому что не находишь, на какую ложь оно похоже, то поколеблюсь ли я заключить, что мне справедливо кажется, что мудрый знает: в философии есть нечто истинное, если и я успел узнать из нее так много истинного?

Но может быть он боится, чтобы выбор высшего блага не был сделан спящим? Опасного ничего нет: когда проснется – отвергнет, если оно не понравится, и удержит, если понравится. Ибо кто, не нарушая справедливости, станет укорять его за то, что он видел ложное во сне? Или ужаснется того, что спящий потеряет мудрость, если примет ложь за истину? На этот раз он, хотя и не спит, осмеливается утверждать бред, называя мудрым бодрствующего, и отрицая

за ним мудрость, если он спит. Все это можно сказать и о безумии; но речь спешит к другому. Однако, я не оставлю этого без самого верного заключения. Или мудрость в состоянии безумия теряется, и в таком случае не будет мудрым тот, кого вы провозглашаете не знающим истины, или знание его остается в его уме, хотя остальная часть души все, что получает от чувств, представляет себе как бы в сновидениях.

13. Остается диалектика, которую истинно мудрый хорошо знает и которую, не впадая в заблуждение, может знать всякий. Если же мудрый ее не знает, – знание ее к мудрости не относится, так как и без него он смог быть мудрым, и тогда излишне нам доискиваться, истинна ли она и может ли подлежать познанию. В этом случае может быть кто-нибудь мне скажет: “Ты, глупец, имеешь обычай преувеличивать свои знания. Неужели ты мог когда-нибудь что-либо узнать о диалектике?” Гораздо более, чем из любой другой части философии. Во-первых, это она меня научила, что все вышеприведенные положения, которыми я пользовался, истинны. Затем, через нее я узнал и многое другое истинное. А как его много, сосчитайте, если можете. Если в мире четыре стихии, то их не пять. Если солнце одно, то их не два. Одна и та же душа не может умереть и быть бессмертной. Не может человек в одно и то же время быть и блаженным, и несчастным. В данном месте не может и солнце светить, и быть ночь. Или мы бодрствуем, или спим. То, что, как мне кажется, я вижу, или есть тело, или не есть тело.

Все это и многое другое, что было бы слишком долго припоминать, я узнал от нее как истинное, и в каком бы состоянии ни находились чувства наши, за истинное само в себе. Она научила меня, что если часть, предшествующая в только что изложенных мною положениях, будет признана, то она по необходимости повлечет за собой и то, что с ней связано. А то, что я изложил в виде противоположений или разделений, имеет то свойство, что, коль скоро будет отвергнуто прочее, одно ли, или многое, останется нечто, что получит подтверждение через устранение прочего. Научила она меня также, что когда предмет, ради которого слова употребляются, ясен, то о словах спорить не должно. И если кто-то это делает, то, если делает по неопытности, должен быть вразумляем, а если с дурным умыслом, – оставляем. Если же вразумиться он не может, нужно посоветовать ему не терять времени по пустякам; а если не послушает, следует пренебречь им. Касательно же умозаключений софистических и ложных, правило коротко: если они лукаво обоснованы на сделанной уступке, следует уступленное возвратить, если же истина и ложь соединяются в одном заключении, нужно взять из него то, что подлежит разумению, а что не может быть распутано, то следует отбросить. Если же в отношении к каким-либо предметам от человека ускользают его границы, добиваться знания их не следует. Все это я имею от диалектики, равно как и многое другое, упоминать о чем нет необходимости. Я не должен быть неблагодарным. Но тот мудрый или пренебрегает этим, или, если диалектика действительно есть самое знание истины, так ее знает, что с презрением и без сострадания заставит умереть с голоду их жалобу на здравый смысл: если-де истинно, то ложно; если ложно, то истинно. Это я полагаю достаточным о восприятии, потому что когда я стану говорить о доверии, ко всему этому придется возвращаться снова.

14. Итак, перейдем теперь к той стороне предмета, в отношении которой Алипий оказывается еще сомневающимся. И, во-первых, рассмотрим свойства того, что заставляет колебаться тебя, человек проницательный и осмотрительнейший. Ты сказал: “Если мнение академиков, полагавших, что мудрый не знает мудрости, подтвержденное столькими и такими доказательствами, ниспровергается такими соображениями, которые вынуждают нас признать гораздо более вероятным, что мудрый знает мудрость, то это еще более должно удерживать от доверия. Ибо, это-де само по себе доказывает, что нет такого мнения, какими бы многочисленными и точными доказательствами оно не было бы обставлено, которому с противоположной точки зрения человек даровитый не представил бы более или менее остроумное опровержение. Поэтому-де академик, будучи побежденным, окажется победителем...”

О, если бы победить его! Владей он хоть искусством Пеласга, ему не удастся уйти от меня в одно и то же время побежденным и победителем! Если же не оказалось бы возможным возразить что-нибудь другое против этого, я охотно признал бы себя побежденным. Ибо у нас речь не о приобретении славы, а об открытии истины. Для меня достаточно каким бы то ни было образом перешагнуть эту громаду, которая встает на пути входящим в философию, и, темнея невесть какими закоулками, грозит, что и вся философия такова, и не позволяет надеяться найти в ней сколько-нибудь света. Желаний чего-либо большего я не могу и иметь, если достигнута вероятность, что мудрый нечто знает. Ибо, если и кажется вероятным, что мудрый должен удерживаться от доверия, то лишь по той причине, что было вероятно, что он ничего не может познавать. Коль скоро это устранено (так как сделана уступка, что мудрый знает по крайней мере самую мудрость), не остается причин тому, почему бы мудрый не доверял хотя бы самой мудрости. Ибо нет сомнения, что гораздо чудовищнее представлять мудрого, не одобряющего мудрости, чем мудрого, не знающего истины.

Прошу вас представить себе следующее зрелище: идет некий спор между мудрым и мудростью. Что может утверждать мудрость, как не то, что она есть мудрость. А тот, представьте, говорит: “Не верю”. Кто говорит мудрости: “Не верю, что ты мудрость”? Тот, с кем она могла говорить и кого удостоила чести в нем обитать, т. е. мудрый! Идите теперь и отыскивайте меня, который борется с академиками: вы встретите уже новое сражение: сражаются между собою мудрый и мудрость. Мудрый не хочет сочувствовать мудрости. Я с вами спокойно жду конца. Ибо кто не уверен, что мудрость непобедима? Однако же, оградим себя некоторой дилеммой. В этом сражении или академик победит мудрость, и в таком случае будет побежден мною, так как не будет мудрым, или же будет побежден мудростью, и в таком случае мы докажем, что мудрый сочувствует мудрости. Итак, или академик не есть мудрый, или мудрый чему-нибудь доверяет; разве может тот, кто постыдился сказать, что мудрый не знает мудрости, не постыдиться утверждать, что мудрый не сочувствует мудрости? Но если уже правдоподобно, что мудрому доступно знание по крайней мере мудрости, и нет причины, почему бы он не доверял тому, что может познавать, то я нахожу правдоподобным и то, чего желал, т. е., что мудрый будет доверять мудрости. Если спросишь, где найдет он эту мудрость, я отвечу: в самом себе. Если скажешь, что он не знает, что имеет, – возвратишься к той нелепости, что мудрый не знает мудрости. Если отрицаешь возможность найти самого мудрого, то об этом рассудим в другой речи уже не с академиками, а с тобою, который так думает. Ибо они, когда рассуждают об этом, рассуждают именно о мудром. Самого себя Цицерон называет исключительно человеком мнений (предположений), но относительно мудрого ставит это предметом своего исследования. Если вам, юноши, это еще незнакомо, то можете прочитать в “Гортензии”: “Итак, если точного ничего нет, а довольствоваться мнением неприлично мудрому, то мудрый ничего никогда не станет утверждать”. Отсюда очевидно, что в своих рассуждениях, против которых мы ратуем, они говорят о мудром.

Итак, я полагаю, что мудрому известна мудрость, т. е., что мудрый воспринял мудрость. А поэтому, когда он доверяет мудрости, – не гаданиями же он ограничивается. Ибо он доверяет тому, не восприняв чего он не был бы мудрым. Да и они утверждают, что не следует доверять только таким вещам, которые не могут быть воспринимаемы. Мудрость же не есть ничто. Итак, если мудрый и знает мудрость, и доверяет мудрости, то знает он не ничто и доверяет не несуществующей вещи. Чего же вы хотели бы большего? Разве поговорим несколько о том заблуждении, которого они полагают избежать, если душа не будет склоняться доверием ни к какому предмету? Ибо заблуждается, говорят они, всякий, кто одобряет не только вещь ложную, но и сомнительную, хотя бы она была и истинна; несомненным же мы не находим ничего. Отнюдь не мудрый, как мы сказали, находит такой самую мудрость.

15. Но вы желаете, может быть, чтобы я оставил это. Неохотно оставляются надежные места, когда имеешь дело с людьми лукавыми. Тем не менее, повинуюсь вам. Но что скажу я

потом? Что и как? Разумеется, должен говорить то старое, на что и они имеют что ответить. Что, в самом деле, буду делать я, которого вы вытеснили вон из своего лагеря? Не обращусь ли за помощью к людям ученым, с которыми, быть может, если победить и не удастся, менее стыдно будет остаться побежденным? Итак, брошу, насколько хватит сил, копье, пусть закоптелое и работы грубой но, если не ошибаюсь, самое большое: “Кто ничего не утверждает, тот ничего не делает; и откуда это у тебя, невежественный человек, вероятное? откуда истиноподобное?” Исполнено наше желание: слышите, как звучат греческие щиты!? Они приняли на себя удар нашего массивного копья. Помощники мои ничего более действительного мне не доставили; и, как вижу, мы не нанесли никакой раны. Обращусь к тому, чем служит мне деревня и поле: более важное меня скорее обременяет, чем поддерживает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.